



*А. К. Толстой*

# УПЫРЬ

КЛАССИКА

МИОО



*А. К. Толстой*

# УПЫРЬ



Москва  
МИФ  
2024



# УПЫРЬ

*Сочинение Краснорогского\*.*

*Санкт-Петербург, 1841.*

*В привилегированной типографии Фишера*

---

\* Краснорогский — псевдоним А. К. Толстого.



Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верно, кого-нибудь ищете, — сказал он, — а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

— Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей!

— Упырей? — повторил Руневский. — Как упырей?

— Упырей, — отвечал очень хладнокровно незнакомец. — Вы их, бог знает почему, называете

вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название — упырь; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира. Вампир, вампир! — повторил он с презрением. — Это все равно что если бы мы, русские, говорили вместо привидения — фантом или ревенант!

— Но однако, — спросил Руневский, — каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

— Знаете ли вы эту старуху? — спросил он Руневского.

— Это бригадирша Сугробина, — отвечал тот. — Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она

ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

— Вы сомневаетесь? — продолжал тот. — Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и со знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

— И это упырь? — спросил Руневский.

— Без сомнения, — отвечал незнакомец. — Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

— С донником, мой батюшка? — спросила она.

— С донником, сударыня, — отвечал сладким голосом Теляев.

— Слышите? — сказал незнакомец Руневскому. — Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак. Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

— Скажите мне, — спросил Руневский, — каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

— Это совсем немудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его *vis-a-vis*\*. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием.

---

\* Сидящий или стоящий напротив (*франц.*).

Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но, когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на месте его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти померачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский

узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки. Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

— Вы много смеялись с моей кузиной, — сказала она ему. — Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

— Мы мало говорили о присутствующих, — отвечал Руневский. — Разговор наш более касался Французского театра.

— Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки; это в полном смысле слова — бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пойдёмся!

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому

офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадриль.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, — говорила она Руневскому. — Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

— Смотри ж, мой батюшка, — сказала ему ласково старуха, — к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек!

Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и все почти новички, а ихних-то тьма-тьмушая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дескать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатью Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дескать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатя Савельича и про Румянцева.

— Вот приехал бы ты ко мне на дачу, — сказала она ему под конец, — я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатя Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, — прибавила она, указывая на Теляева, — меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

— Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна, — сказал он сладким голосом бригадирше, — и даже... если бы... в случае... то есть... — Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку. — Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатя Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла не приметно подать об ней

невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностию, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей

радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю, — говорила она, — что они меня не любят и что я в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто наедине я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда заедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

— Мне самой стыдно за сестрицу, — сказала она, — но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастью, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает.

Таким образом, Софья Карповна, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении.

— Вам, вероятно, показалось странным, — сказала ему на другой день Даша, — что я от вас ушла,

когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж девять лет, как она скончалась; я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

— Вскоре потом, — продолжала она, — маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменялось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

— Позвольте мне быть вашим другом, — вскричал он, — положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги слышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

— Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности.

— Даша, любезная Даша! — вскричал Руневский. — Еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

— Можете ли вы в этом сомневаться? — отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов.

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением просторного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы

Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно называть первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

— Спасибо тебе, мой батюшка, — сказала она, — что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да Расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

— Не прикажете ли? Настоящий русский, с доником. Я французского не употребляю; этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

— Покорно благодарю, — ответил Руневский, — я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте встала себе фальшивый зуб да говорила бы как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы

показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентинского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты, — все это, вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

— Давайте гадать, — сказала Даша. — Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

— Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

— Пусть бабушка внучкину высосет кровь.

— Ах, боже мой! — вскричали девушки, смеясь. — Что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

Как филин поймал летучую мышь,  
Когтями сжал ее кости,  
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов  
К соседу собирается в гости.  
Хоть много цепей и замков у ворот,  
Ворота хозяйка гостям отопрет.  
«Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик?  
Зачем ты так побледнела?  
Под замком кипит и клубится Дунай,  
Ночь скроет кровавое дело.  
Не бойся, из гроба мертвец не встает,  
Что будет, то будет, — веди нас вперед!»  
Под замком бежит и клубится Дунай,  
Бегут облака полосой;  
Уж кончено дело, зарезан старик,  
Амвросий пирует с толпою.  
В кровавые воды глядится луна,  
С Амвросьем пирует злодейка-жена.  
Под замком бежит и клубится Дунай,  
Над замком пламя пожара.  
Амвросий своим удальцам говорит:  
«Всех резать от мала до стара!  
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,  
Сама ж ты впустила веселых гостей!»  
Сверкая, клубясь, отражает Дунай  
Весь замок, пожаром объятый;  
Амвросий своим удальцам говорит:

«Пора уж домой нам, ребята!  
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,  
Сама ж ты впустила веселых гостей!»  
Над Марфой проклятие мужа гремит,  
Он проклинал ее, умирая:  
«Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род,  
Сто раз я тебя проклиная!  
Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,  
Пусть бабушка внучкину высосет кровь!  
И род твой проклятье мое да гнетет,  
И места ему да не станет  
Дотоль, пока замуж портрет не пойдет,  
Невеста из гроба не встанет  
И, череп разбивши, не ляжет в крови  
Последняя жертва преступной любви!»  
Как филин поймал летучую мышь,  
Когтями сжал ее кости,  
Как рыцарь Амвросий с толпой удалцов  
К соседу нахлынули в гости.  
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,  
Сама ж ты впустила веселых гостей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил:

— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь?  
Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

— Бабушка, — отвечала Даша, — я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкаф, и она упала с самого верху.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

— Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазия!..

— То-то, фантазия! — проворчала старуха. — В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! — продолжала она с недовольным видом. — Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию — все поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что ответственность читанных им стихов с словами г. Рыбаренки не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слышали

другие. Его мучила неизвестность; он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от нее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом посматривая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

— В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса.

— Разумеется, в зеленых! — отвечала Клеопатра Платоновна. — Разве ты забыл, что в других нет места?

— Да, да, — проворчал лакей, — в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.

Вообще, когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.

— Впрочем, мне все равно, — продолжал лакей, — в зеленых так в зеленых!

— Ну, ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запираю, велел бы освятить да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

— А что это за комнаты? — спросил Руневский.

— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна, — сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху, — дай господь ей царство небесное...

— После, после расскажешь! — сказал Руневский. — Прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый

воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

— Чей это портрет? — спросил он лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

— Прасковья Андреевна, — отвечал тот, — была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним! Он-то, извольте видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти

покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили да с горя и скончались. А матушка, вишь, их, это, выходит, бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

— Вот тут, — говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, — есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынести из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадуются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

— Чувствительнейше благодарим, — отвечал лакей, — желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце.

«Вот, — подумал он, — картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости!» Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он

долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

— Вы ли это? — вскричал Руневский. — Об эту пору, в этом наряде!

— Мой друг, — отвечала она, — если я вам мешаю, я уйду прочь.

— Останьтесь, останьтесь! — возразил он. — Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.

— Ах, — сказала она, — мне немного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвращаться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустила на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

— Где жарко? откуда вы пришли? — спросил Руневский.

— Не спрашивайте меня, — отвечала она, вздрогнув при его вопросе, — не говорите со мной об этом!

Я так рада, что вас вижу, — прибавила она с улыбкой. — Вы долго здесь пробудете?

— Как можно дольше!

— И всегда будете здесь ночевать?

— Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Для того чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

— Это немудрено, я только сегодня приехал.

— Руневский, — сказала она, помолчав, — окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

— Боже мой! — воскликнул Руневский. — Чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

— Ради бога, — закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания, — ради бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

— Даша, Даша! — закричал он в исступлении. — Что это значит?

— Я не Даша, — отвечало насмешливым голосом привидение, — отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок; но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.

— Чего изволите, сударь? — спросил он.

— Я тебя не звал.

— Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; а когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют *cauchemar*. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностью.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

— Что с тобой случилось? — спросил Руневский.

— Воля ваша, — отвечал он, — я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

— Да говори же, что в твоей комнате?

— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

— Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

— Александр Андреевич, — сказал он дрожащим голосом, — здесь что-то нехорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

— Мы было поговорили с Яковом Антипычем да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорят: ваш барин звонит! Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору; теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука его была костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

— Позвольте мне ночевать поближе к вам, — сказал лакей, — оно все-таки лучше; да и к тому ж, если вы меня потребуете, буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но, когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила:

— И немудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объяснить-ся с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

— А что касается до Даши, — прибавила она, — то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а, право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатя Савельича по воле отцовской вышла, а уж полюбила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа

Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь — хорошо! Не ворочусь — так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убегал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прощед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад

и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьею, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.

— У нас, видно, одни вкусы, — сказал он, улыбаясь. — Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание.

— Признайтесь, — сказал он, — что, когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего?

— Не могу скрыть от вас, — отвечал Руневский, — что вы мне показались очень странным. Ваши слова, ваши замечания...

— Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

— Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

— На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко. — Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

— Она теперь у нее, я видел ее недавно.

— Как, и она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слышал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

— Странно, — сказал он наконец, — упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?

— Там.

— Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и, если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

— Воля ваша, — отвечал Руневский, — я никак не могу думать, чтоб вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

— Как, — возразил Рыбаренко, — вы в них ничего не заметили необыкновенного? Вы не слышали, как Семен Семенович щелкает?

— Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проводши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы бригадирши, столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы заметили архитектуру ее дома? — сказал он. — Прекрасный фасад! совершенно в итальянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте, — продолжал он, схватив руку Руневского, — будьте откровенны,

скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

— Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta

есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием чертова дома (*la cassa del diavolo*). Почти всякий день, идучи из предместья *borgo Vico*, где была моя квартира, в *albergo*\* *del Angelo*, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на *piazza Volta* и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность чертова дома.

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные

---

\* Постоялый двор, гостиница (*итал.*).

знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

— Могу вас уверить, синьор, — сказал он, обращаясь ко мне, — что вы напрасно так беспокоитесь и что чертов дом несколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

— Помилуйте, — возразил я, — зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?

— На это есть более причин, чем вы думаете, — отвечал аббат.

— Как, — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна, — неужели он делает фальшивую монету?

— Нет, — возразил аббат, — дон Пьетро — большой чудака, но честный человек. Говорят про него,

что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.

— Кто такой Титта Каннелли? — спросил я.

— Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

— Скажите же, ради бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про чертов дом?

— Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину чертова дома с лишком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его

по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил, — продолжал аббат, — что вы не англичанин, а русский, несмотря на то что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что немного сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудака, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах, но он распустил

в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что, кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унижил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, *il cattivo*.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с кабалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от *villa d'Este*. В одно утро приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро, вскоре по возвращении своем из России,

пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину *al fresco* \*, которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фреску на другом месте; ее опять закрасили; но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющих голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники не долго останавливались под окнами.

— Вы видите, синьор, — продолжал аббат, — что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому на берегу озера, недалеко от *villa d'Este*, по ту сторону *Sarpićcio*, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

— Скажите мне, — спросил я, — что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

---

\* Фреску (*итал.*).

— Не знаю, — отвечал аббат. — Но если это вас интересует, — прибавил он с улыбкой, — то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

Этого-то мне и хотелось.

— Но как туда войти? — спросил я. — Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

— Правда, — сказал он наконец. — Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущем вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo\*, которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце.

— Вот вилла дон Пьетро, — сказал аббат, — вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть в тайну, сильно возбуждившую мое любопытство.

---

\* Дворцом (*итал.*).

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не рассердились, но только смеялись от всего сердца и даже проводжали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров.

Вечером было собрание в villa Sallazar. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или италиянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальною, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

— Позвольте, господа, — сказал я, — если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков;

но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был, по окончании лечения, ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградой его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седые, глаза мои впали, я в цвете лет сделался стариком — я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что

люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывавшегося, с холодной прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смерклось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах!

— Подождем, — сказал Антонио, — теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною; она бегала, суежилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: “O dio! poverino! Maladetta strada!”\* — омыла ему лицо.

— Это дурной знак! — сказал улыбаясь Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

— Да, — отвечал я, — не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

— О нет, нет! — возразил он. — Это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русских!

Мы пошли далее. Минут через десять нас догнала та самая девушка, которая из villa Remondi вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила вполголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез.

— Что она тебе сказала? — спросил его Владимир, когда девушка удалилась.

— Бедная Пепина, — отвечал Антонио, — просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение

---

\* О боже! Бедняжка! Проклятая дорога! (*итал.*).

ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставляла дома.

— А кто ее брат? — спросил я.

— Какой-то контрабандист по имени Титта.

— А как фамилия этой девушки?

— Каннелли. Но что тебе до этого?

— Титта Каннелли! — воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины, и я бы непременно воротился, если б мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слышал о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампы. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в Северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Urgina.

Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранной по-старинному.

Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебели обтянута шелковой тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев; в одном из них мы увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные, непонятные знаки.

— Это должна быть спальня старого дон Пьетро, — сказал Антонио, приблизив свечу к стене. — Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

— Как она похожа на Пепину, — сказал Владимир, — я бы это принял за ее портрет!

— Да, — отвечал Антонио, — черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать; знаешь ли что, мне при взгляде на нее делается страшно!

Я ничего не говорил, но вполне разделял чувство Антонио.

Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных

сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобелинами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелины представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова Orlando. Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов.

Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и, когда я нечаянно поднял голову, мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.

— Я думаю, мы теперь можем лечь спать, — сказал Владимир, — но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ляжем в трех разных комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжение ночи.

Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

— Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

— Нисколько, — отвечал Руневский, — вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

— Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать, под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

— Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

— Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

— Что с тобой! — сказал я, засмеявшись. — С которых пор ты веришь предчувствиям?

— Обними меня! — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменялись, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

— Поди, поди, Владимир, — сказал я, скрывая свое удивление, — дай бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется; но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения; но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину-фреску, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другою трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пепину.

— Пощадите меня, синьор, — кричала бедная девушка, — я ничего не хотела у вас украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет.

— Ах, — отвечала Пепина, — после того как я догнала синьора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, верно, слышали. Я из любопытства вошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня; любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг синьора Антонио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам клянусь всем, что дорого моему сердцу, он давно хочет сделаться честным человеком; но, если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда! О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаянием, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем

страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

— С кем ты там, Пепина? — сказал кто-то, отворяя дверь.

— Ах, это мой брат! — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, взглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

— А, это вы, signor Russo!\* — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. — Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

— Я вас нарочно, — сказал он, — зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим, целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За все я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов. — Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик,

---

\* Синьор русский (*итал.*).

и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими камнями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пепинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

— Благодарю вас, — сказал он, — вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что, если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пепина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещицами нашел я одну склянку рококо,

величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пепину и женщину-фреск, и часто, среди самых приятных картин моего воображения, я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, на-скоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

— Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера прекраснейшая из богинь? Парис — человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьей в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне!

Я употреблял все силы, чтобы привести его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

— Как, — вскричал он радостно, увидев Антонио, — он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио; но раны нигде не было видно.

— Вот видишь, — сказал Антонио, — я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

— Слава богу, я его не убил, это был только дурной сон!

— Друзья мои, — говорил я, — ради бога, объяснитесь, я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

— Вошедши в свою комнату, — сказал Владимир, — я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baralello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, взглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру.

«Кто там?» — закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и, как будто на невидимых колесах, приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица

страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир! что ты делаешь? я Антонио!» Я бросился его подымать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

«Владимир, — сказал он слабым голосом, — я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!»

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонио в его комнату.

— Что ты говоришь? — прервал я Владимира. — Я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постели и ничего не знаю про Антонио. К тому ж ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне!

— Ты сам говоришь во сне! — отвечал с досадою Владимир. — Никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонио встал со стула и к нам подошел.

— О чем вы спорите? — сказал он. — Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал страшить Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные

золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и поворачивал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонио; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию».

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля, — сказал он, — имеет свои обычаи. Все над вами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке». «А как же мне ехать?» — спросил я. «Не иначе как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам и наконец прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!» — сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладонем. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» — спросил я у грифона. «Это бог Пан», — отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?» — спросил я опять. «Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым». — «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» — «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них

отворачивается». — «А для чего у него за поясом пистолеты?» — «Ох, — отвечал с досадою грифон, — вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем!» Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?» — спросил я у грифона. Грифон очевидно смешался. «Это так, кто-нибудь! — отвечал он, поправляя носом свои перья. — Не обращайтесь на него внимания!» Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дуррак, дуррак! ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы

его почитаем более, нежели дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы. «Парис! — сказал ему Юпитер, или дон Пьетро д'Урджина (как называл его грифон). — Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами!» «О могущий громовец! — отвечал Парис. — Клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвести следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами!» «Хорошо! — сказал Юпитер. — Быть по-твоему!»

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сластнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его середины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: «О Сиринга! о дочь моя!»

Я совсем забылся, но грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил намерение. Венера, сложив небрежно руки и приклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать,

приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умиლოსердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пепина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пепина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь!» — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым

блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком: «Да здравствует наш император, великий Антонио-Фу-Цинг-Танг!» — бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно:

— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку рококо. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

— Это ты купил у твоего контрабандиста? — спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

— Ах, боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидел, что смотрю из окна чертова дома.

— Как мы сюда попали? — спросил я, обращаясь к Антонио.

Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но не-много более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался; но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

— Господа! — кричал он снаружи. — Отворите ворота; вы арестованы от имени правительства!

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы.

— За то, — отвечал он, — что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивши мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту (известного археолога R...i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привести аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он несколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой *in folio*\* и прочитал следующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Giorambatista Cannelli, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник».

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважения и который скорее бы дал

---

\* Книга большого формата — в лист, согнутый пополам (*лат.*).

себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открыл мне, что чертов дом построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с Тартаром. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими упырями, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

— Что ж, — спросил его Руневский, — и вы не делали никаких розысканий о вашем приключении?

— Делал, — отвечал Рыбаренко. — Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

— И что ж вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondi на помощь к Антонию, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонию, чтобы он

выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondi и виллою d'Este, и, когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого воспоминания! Оно повсюду меня преследует, как червь, подтачивает мой рассудок, и бывают минуты, что я готов лишиться себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради бога, берегитесь, любезный друг, а особливо не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полновзвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику.

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовью смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья, и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

— Пойдем, — сказал он наконец Руневскому, — вам нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой.

Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она, и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большою приветливостию. Но обхождение матери тотчас с ним переменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал.

— Как, — вскричала она, — что это значит? а Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы над нею смеяться? Позвольте вам сказать: после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведение это мне кажется чрезвычайно странным! Как, милостивый государь? обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь к другой и просите ее руки — у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти как гром поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила как на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику. Пока еще она питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества, она старалась отгадывать и предупреждать все его желания; но теперь, при неожиданном требовании, она решилась прибегнуть к последнему средству и чрез трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастью своему, она ошиблась в расчете, ибо Руневский весьма почтительно и холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетюшка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика.

— Боже мой, боже мой, — кричала она, — что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара, лучше тысячу раз умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!

— Вот в какое положение вы привели бедную Софью, — сказала ему Зорина. — Но это не может так остаться!

Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жалко.

Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как попытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удовлетворительный ответ.

Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны; но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видал и не имел о нем никакого понятия.

— Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих, — сказал Зорин, учтиво поклонившись.

— Прощу садиться, — сказал Руневский.

— Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрой, начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи, — прервал его Руневский, — но могу вас уверить, что не я был тому причиной.

— Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположения. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились...

— Никогда! — воскликнул Руневский.

Глаза молодого Зорина засверкали от негодования.

— Послушайте, милостивый государь, — вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться, — вам, верно, неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне о вас писала; от нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма!

— Если Софья Карповна в них это говорит, — отвечал Руневский, не дотрогиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол, — то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю!

— Итак, вы не намерены на ней жениться?

— Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы.

— Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству.

— Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при

хладнокровном размышлении вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству.

Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского.

— Завтра в пять часов я вас ожидаю на Владимирской дороге, на двадцатой версте от Москвы, — сказал он сухо.

Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него мало было знакомых в Москве; к тому ж почти все были на дачах; итак, неудивительно, что выбор его пал на Рыбаренку.

На другой день, в три часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом.

Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку.

— Владимир, — сказал он, сжав ее крепко, — ты не прав в этом деле: помирись с Руневским!

Зорин отвернулся.

— Владимир, — продолжал Рыбаренко, — не шути с судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братец, — сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки, — теперь не время говорить о пустяках!

Они углубились в кустарник.

Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил беспрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым; но, когда, размеря шаги для

барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился.

— Друзья мои, — сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому, — помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что один из вас не воротится домой!

Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке.

— Позвольте объяснить, — сказал он, уставив на него большие красные глаза, — здесь оскорбление нестерпимое-с... примирение невозможно-с... здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с... я до примирения не допущу-с... а если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!

Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду шелканьем курков.

Фрышкин не переставал горячиться; он был кра-сен как рак.

— Да, — кричал он, — я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!

Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленную грудью. Владимир

и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; он был лишен чувств.

— Это твое видение в вилле Урджина! — сказал Рыбаренко на ухо Владимиру. — Ты убил друга.

Руневского перенесли в коляску, и так как дом бригадирши был самый ближний и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки.

Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин.

Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарство.

Таким образом прошло несколько дней, в продолжение коих он никого не видал, кроме доктора

и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне; но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать по крайней мере неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны.

— Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна, — говорила Клеопатра Платоновна, — подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя, — отвечала Сугробина. — Да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла?

— Вы не хотите? — вскричала Клеопатра Платоновна. — Вы не хотите один раз отказаться от...

— Рыцарь Амвросий! — закричала Сугробина.

Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре.

Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном.

— Чего тебе надобно, Марфа? — спросил он грубым голосом.

— Пора, мой батюшка! — прошептала старуха.

Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета, с вышитой на груди большою черною летучею мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске, при виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле дон Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел.

— Ты уже здесь? — сказала, дрожа, бригадирша.

— Пора! — отвечал незнакомец.

— Подожди хоть один день, подожди хоть до утра! Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель!

Старуха упала на колени; лицо ее стало страшным образом кривляться.

— Не хочу ждать! — отвечал незнакомец.

— Еще хоть часочек! — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты! — отвечал тот. — Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма!

Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, с связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал; в ушах его страшно шумело; он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом.

— Хотите жениться на моем портрете? — сказала оно. — Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишенный чувств.

Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаянье блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши; и хотя он ни в чем не был

виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое исступление, что Яков боялся к нему подойти.

Однажды страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаяньем, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице, — говорил Рыбаренко, — я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но лестнице не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, что сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться», — говорил Руневский; но Рыбаренко дал ему заметить, что, по мере того как они подвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться, — говорил он, — надобно идти далее!» И они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большою медною дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их

через переднюю; один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы; но Теляева не было с нею; вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох! — вздыхала она. — Скучно стало с этой чучелой! Когда-то к нам будет Семен Семенович!» — и длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было; он находился один посреди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский, — сказала она, — зачем вы сюда пришли? Если они узнают, кто вы, то вам будет беда!» Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. «Следуйте за мной, — продолжала Даша, — я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте, — сказала она, — я вам покажу наш оркестр!» Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты!» Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и обжатым огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев

его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завывали: «К нам! ступай к нам!» «Прочь, прочь!» — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где он? где он? — блеяли голоса. — Ловите его, ловите его!» «За мной, за мной!» — кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены!» — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся.

Возле его постели стояли Даша и Владимир.

— Я рад, — сказал Владимир, пожав ему руку, — что вы проснулись; вас тяготил неприятный сон, но мы боялись вас разбудить, чтоб вы не испугались. Доктор говорит, что ваша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не простил, если б вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный друг! — сказала Даша, улыбаясь. — Не сердись на Владимира; он предобрый человек, только немножко вспыльчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься!

Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним, он слышал ее голос, и в первый раз она ему говорила «ты». С тех

пор как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал:

— С тех пор как вы лежите в постели, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск; старая бригадирша... но я вам слишком много рассказываю; когда вам будет лучше, вы все узнаете!

— Нет, нет, — сказала Даша, — ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надобно знать все. Бабушка, — продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому, — уже два месяца как скончалась!

— Сама Даша, — прибавил Владимир, — была опасно больна и поправилась только после смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорей выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное, — сказала она, — мы и забыли ему сказать: тетушка согласна на наш брак и меня благословляет!

Услыша эти слова, Руневский схватил Даши-ну руку, покрыл ее поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались.

— Я бы не думал, — отвечал, смеясь, Владимир, — что вы можете в этом сомневаться.

— Но за что ж мы дрались? — спросил Руневский.

— Признаюсь вам, я и сам не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фрышкину, как вы над ним смеялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали в постели с простреленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочем, бог с нею! Желаю, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела!

— Как тебе не стыдно, Владимир, — сказала Даша, — ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра! — прервал ее Владимир. — Хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастною тебя, которую люблю, уж верно, больше Софьи.

Еще месяца три протекли после этого утра. Руневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша, в красивом утреннем платье и в чепчике, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны.

— До какой степени, — сказал он, — воображение может овладеть человеческим рассудком! Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом.

— История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного, — сказал Владимир. — Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть!

Клеопатра Платоновна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного.

— Если бы, — сказала она, — смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женитьба Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения.

Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце пятнадцатого столетия под именем *Ostrovicz*. Герб ее был: черная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны *Ostrovicz* хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались *Tellara* и, чтоб

показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Tellara от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина.

Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою, и война эта долго бы не кончилась, если б измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Ostroviczy, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскою славой Амвросия Tellara, прозванного Амвросием с широким мечом. В одну ночь она впустила его в замок и с его помощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Ostroviczy в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Ostroviczy, которая находится здесь в библиотеке.

Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу; но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственной смертью, другие сошли с ума, а, наконец, тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите

пред собою портрет, будучи невестою ломбардского дворянина Пьетро д'Урджина...

— Пьетро д'Урджина? — прервали Клеопатру Платоновну в один голос Руневский и Владимир.

— Да, — отвечала она, — жених Прасковьи Андреевны назывался дон Пьетро д'Урджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Он был человек уже немолодой и к тому ж вдовец; но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет двадцати. Прасковья Андреевна была молодая девушка, и учтивые приемы ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась. Мать ее не имела той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, может быть, лишь для того так часто обнаруживала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное происхождение. Она желала выдать дочь за дон Пьетро, ибо он был богат, приехал с большою свитой и жил как владетельный князь. К тому же он обещался навсегда поселиться в России и уступить ломбардские свои имения сыну, находившемуся тогда в городе Комо.

Дон Пьетро привез с собою множество отличных художников. Архитекторы его выстроили этот дом, живописцы и ваятели украсили его с истинно итальянским вкусом. Но, несмотря на необыкновенную роскошь дон Пьетро, многие замечали в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он проигрывал в карты, лицо его видимо изменялось, он бледнел и дрожал; когда же он был в выигрыше, жадная

улыбка показывалась на его устах и он с судорожным движением пальцев загребал добытое золото. Низкий его нрав, казалось, должен бы переменить к нему расположение Прасковьи Андреевны и ее матери, но он так хорошо умел притворяться перед ними обеими, что ни та ни другая ничего не приметили, и день свадьбы был торжественно объявлен.

Накануне он дал в своей новой даче блистательный ужин, и никогда его любезность не показывалась с таким блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его занимал все собрание, и все были в самом веселом расположении духа, как хозяину дома подали письмо с иностранным клеймом. Прочитав содержание, он поспешно встал из-за стола и извинился перед обществом, говоря, что неожиданные дела непременно требуют его присутствия. В ту же ночь он уехал, и никто не знал, куда он скрылся.

Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной уловке, чтобы отделаться от брака с ее дочерью, тем более что дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить Прасковью Андреевну о причине и назначении неожиданного своего путешествия.

Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и так похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила из Комо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Письмо было от сына умершего. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день, когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в Комо, он, родственник, собираясь влезть на Везувий, видел в корчме местечка Torre del Greco двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой: человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера и что на другой день праздник св. Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки, и ему отвечали, что один из них дон Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия, и из странности никогда не снимающий с себя маски. Встреча эта, заключающая родственник, ясно доказывает, что дон Пьетро не умер, а только отлучился на время из Комо в Неаполь.

К несчастью, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении дон Пьетро, и божились, что сами видели, как гроб его опущен был в землю. Итак, не осталось сомнения в участии жениха Прасковьи Андреевны.

Сын дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила Березовую Рощу за бесценок.

Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было — припоминать малейшие подробности своего знакомства с дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса.

В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она себя отравила, и, со всем почтением к памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти

начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы.

— Но, — сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны, — можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?

— Ах, — отвечала Клеопатра Платоновна, — в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава всевышнему, теперь желание ее исполнилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое дон Пьетро подарил своей невесте; а разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна! — сказал Руневский после некоторого молчания. — Вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Ostroviczy, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что

делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семен Семенович Теляев. Мне самому стыдно, — продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением, — мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности.

— Что ж вы видели? — спросила Клеопатра Платоновна с беспокойством.

— Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал дон Пьетро д'Урджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывал Рыбаренко.

— Рыбаренко! — вскричал, смеясь, Владимир. — Твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в Комо, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову.

— Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в чертовом доме?

— Так точно, и все трое мы видели бог знает что во сне, с тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему, надобно отдать справедливость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде нежели пошли в чертов дом, он бы мне дорого заплатил за эту шутку.

— Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш.

— Оттого что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте.

— Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости?

— Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнью.

— А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник?

— Не прогневайся, любезный Руневский, — но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в Комо со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи

в горячке, всю его чепуху еще более спутал и, сверх того, уверил себя в ее истине.

Руневский не довольствовался этим истолкованием.

— Отчего же, — сказал он, — история этого дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историею Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается.

Владимир пожал плечами.

— Все, что я тут вижу, — сказал он, — заключается в том, что дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда.

— Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино, Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обманывать?

— На это я тебе скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человек, вовсе между собою не согласившись. Это все равно что плащ, карета, дерево или дом — предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино; но обстоятельства, в которых оно

является у каждого из них, ничего не имеют между собою схожего. Что ж касается до твоего собственного видения, то воображение твое просто воссоздало лицо, уже знакомое тебе по рассказам Рыбаренки.

— Но я ничего не знал ни о фамилии Ostroviczy, ни о фамилии Tellara, а между тем ясно видел на Сугробиной красное платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина.

— А пророчество? — сказала Даша. — Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Амвросии, о филине и о летучей мыши. Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с филином или с рыцарем Амвросием!

— Эту балладу, — прибавила Клеопатра Платоновна, — извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись.

— И после этого вы полагаете, — продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше, — что она была не упырь?

— Как не упырь?

— Что она не вампир?

— Что ты, помилуй! — отчего бабушке быть вампиром?

— И Теляев не упырь?

— Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами?

— Отчего ж он щелкает?

Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и наконец Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и, когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему ни казалось некстати, сам не мог удержаться от смеха. Одна Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальною.

Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если б не вошел Яков и не произнес громогласно: «Семен Семенович Теляев!»

— Просить, просить! — сказала радостно Даша. — Упырь! — повторяла она, помирая со смеху. — Семен Семенович упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!

В передней слышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза.

— Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтение, Александр Андреевич! — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руневскому. — Душевно сожалею, что не мог ранее поздравить молодых супругов, но отлучка... семейные обстоятельства...

Он начал неприятным образом шелкать, всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая:

— С донником... настоящий русский... покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли...

— Посмотри, — шепнула Даша Руневскому, — вот откуда ты взял, что он рыцарь Амвросий!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневский увидел, что на ее крышке изображен ушастый филин.

Приметив, что он смотрит на это изображение, Семен Семенович странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая головою:

— Гм! Это так-с, фантазия... аллегория... говорят, что филин означает мудрость...

Он опустился в кресла и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой:

— Много нового-с! Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто известный вам бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор Рыбаренко...

— Как, Рыбаренко бросился с колокольни?

— Как изволите говорить... вчера в пять часов...

— И убится до смерти?

— Как изволите говорить...

— Но что его к этому побудило?

— Не могу доложить... причины неизвестны... Но смею сказать, что напрасно... коллежский асессор!.. далеко ли до коллежского советника... там статский советник... действительный...

Семен Семенович впал в шелканье, и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слышал.

— Бедный, бедный Рыбаренко! — сказал он, когда ушел Теляев.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

— Итак, — сказала она, — пророчество исполнилось вполне. Проклятие не будет более тяготить этот род!

— Что вы говорите? — спросили Руневский и Владимир.

— Рыбаренко, — отвечала она, — был незаконнорожденный сын бригадирши!

— Рыбаренко? сын бригадирши?

— Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка; оно в самом деле существовало в фамилии Ostroviczy.

Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления.

— О чем ты думаешь, мой друг? — сказала наконец Даша, прерывая общее молчание.

— Я думаю о Рыбаренке, — отвечал Руневский, — и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред!

Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этот шрам? — спросил он.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью. Это маленькое приключение было причиной, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да, — сказал он, — теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую ж доску, какая была у дон Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами.

— Но нет, — сказал он, — я ошибаюсь, не будем более об этом говорить! Я уверен, что это был бред!

Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы с своих бледных ланит.

— Ну, что ж мы все четверо повесили головы? — сказал Владимир. — Жаль бедного Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю: не правда ли, Теляев славный упырь?

Никто не засмеялся, а Руневский дернул за шнурок колокольчик и сказал вошедшему Якову:

— Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-с! — отвечал Яков.

С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.

# СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА

Неизданный отрывок из записок неизвестного



В 1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот — Конгресс окончился.

Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно водвориться в своих замках, русские воины — вернуться к покинутым очагам, а несколько недозвольных поляков — искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости, уготованной для них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом Несельроде.

Как это бывает к концу шумного бала, от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые, все не утратив вкуса к развлечениям и очарованные прелестью австрийских дам, еще не торопились домой и откладывали свой отъезд.

Это веселое общество, к которому принадлежал и я, собиралось два раза в неделю у вдовствующей

княгини Шварценберг в нескольких милях от города за местечком Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в гостях.

Утро у нас бывало занято прогулкой; обедали мы все вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестностях, а вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории.

Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях.

Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать и мы находились в том несколько возбужденном состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз д'Юрфе, старик эмигрант, пользовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту особую остроту, которую он придавал рассказам о былых своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия и сказал:

— Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно подлинности, ибо — насколько я уловил — никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность.

Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал:

— Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастью, я был и свидетелем, и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною — если только дамы ничего не будут иметь против.

Слушать захотели все. Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету, но тут же кружок наш сомкнулся теснее и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин д'Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал:

— Прежде всего, милостивые государыни, прошу у вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне о них нельзя не упоминать. К тому же старости прощительно забываться, и, право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, я чуть ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак, начну прямо с того, что в тысяча семьсот пятьдесят девятом году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и глубокой, и долговечной, не давала

мне покоя ни днем ни ночью, а герцогиня, как это часто нравится хорошеньким женщинам, еще усиливала это терзание своим кокетством. И вот, в минуту крайнего отчаяния, я в конце концов решил просить о дипломатическом поручении к господину молдавскому, ведущему тогда переговоры с версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же скучно, сколь и бесполезно, и назначение я получил. Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала:

— Д'Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном — возьмите вот этот крестик как залог моей дружбы и носите его, пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы очень дорожим.

С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался.

Не стану утомлять вас, милостивые государины, ни подробностями моего путешествия, ни моими впечатлениями от венгерцев и от сербов — этого бедного и непросвещенного, но мужественного и честного народа, который, даже и под турецким ярмом, не забыл ни о своем достоинстве, ни о былой

независимости. Скажу вам только, что, научившись немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются — и это вам, наверно, известно — не чем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским.

Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в состоянии объясниться, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, в котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье — день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью, забавляясь пляской, стрельбой из пищали, борьбой и т. п. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться, но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет тридцати, роста высокого и вида внушительного.

— Входи, — сказал он, — входи, чужеземец, и пусть не пугает тебя наша печаль; ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину.

И он мне рассказал, что старик отец его, по имени Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пищаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого — Петром.

— Дети, — молвил он им, — я иду в горы, хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека (так звали разбойника-турка, разорявшего последнее время весь тот край). Ждите меня десять дней, а коли на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души — значит, убили меня. Но ежели, — прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий, — ежели (да не попустит этого бог) я вернусь позднее, ради вашего спасения, не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам — забудьте, что я вам был отец, и вбейте мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни делал, — значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь.

Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыни, что вурдалаки, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более опасными. Вурдалаки, милостивые государыни, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами, так что со слов очевидцев даже говорят, будто в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в вурдалаков. В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры. Императоры германские не раз назначали комиссии

для расследования случаев вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью.

После всего этого вам легко будет вообразить себе, какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей. Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он позволил им отправиться вместо него, но тот, ничего не ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь, повторяя припев старинной песни. День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный Горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей.

То была дружная и хорошая семья. Георгий, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его Петра, красивого восемнадцатилетнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила младшая сестра, Зденка, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во всех отношениях беспорной, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное — была у нее та особенная складочка

над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз, как она с неодолимой силой привлекала вас к себе.

То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки, но стоило мне две минуты поговорить с нею — и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться в той деревне.

Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и молоко в кринках. Зденка пряла; ее невестка готовила ужин для детей, игравших тут же в песке; Петр с наигранной беззаботностью что-то насвистывал, занятый чистой ятагана — длинного турецкого ножа; Георгий, облокотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и все время молчал.

Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом.

Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворной иконой богородицы, которую, по преданию, принесли ангелы и оставили ее

на ветвях дуба. Но в начале минувшего века в те края вторглись турки, они перерезали монахов и разорили монастырь. Оставались только стены и часовня, где службу совершал некий отшельник. Он водил посетителей по развалинам и давал приют богомольцам, которые по пути от одной святыни к другой охотно останавливались в монастыре «божьей матери дубравной». Все это, как я уже упомянул, мне стало известно лишь впоследствии, а в тот вечер занимала меня уж никак не археология Сербии. Как это нередко бывает, если только дашь волю своему воображению, я стал вспоминать прошлое, светлые дни детства, мою прекрасную Францию, которую я покинул ради далекой и дикой страны. Я думал о герцогине де Грамон и — не буду этого скрывать — думал также о некоторых современницах ваших бабушек, чьи образы невольно проскользнули в мое сердце вслед за образом прелестной герцогини.

Вскоре я позабыл и о моих хозяевах, и о предмете их тревоги.

Георгий вдруг нарушил молчание:

— Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?

— В восемь часов, — ответила жена, — я слышала, как в монастыре ударили в колокол.

— Хорошо, — проговорил Георгий, — сейчас половина восьмого, не позднее.

И он замолчал, опять устремив глаза на большую дорогу, которая исчезала в лесу.

Я забыл вам сказать, милостивые государыни, что когда сербы подозревают в ком-нибудь вампира,

то избегают называть его по имени или упоминать о нем прямо, ибо думают, что так его можно вызвать из могилы. Вот почему Георгий, когда говорил об отце, уже некоторое время называл его не иначе как «старик».

Молчание продолжалось еще несколько минут. Вдруг один из мальчиков, дернув Зденку за передник, спросил:

— Тетя, а когда дедушка придет домой?

В ответ на столь неуместный вопрос Георгий дал ребенку пощечину.

Мальчик заплакал, а его младший брат, и удивленный, и испуганный, спросил:

— А почему нам нельзя говорить о дедушке?

Новая пощечина — и он тоже примолк. Оба мальчика заревели, а взрослые перекрестились.

Но вот часы в монастыре медленно пробили восемь. Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую фигуру, появившуюся из лесу и направившуюся в нашу сторону.

— Он! — воскликнули в один голос Зденка, Петр и их невестка. — Слава тебе господи!

— Господи, сохрани и помилуй нас! — торжественно проговорил Георгий. — Как знать, прошло ли уже или не прошло десять дней?

Все в ужасе посмотрели на него. Человек между тем все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом, опираясь на палку. По мере того как он приближался, Георгий становился все

мрачней. Подойдя к нам, старик остановился и обвел свою семью взглядом как будто не видящих глаз — до того они были у него тусклые и впалые.

— Что ж это, — сказал он, — никто не встает, никто не встречает меня? Что вы все молчите? Иль не видите, что я ранен?

Тут я заметил, что у старика левый бок весь в крови.

— Да поддержи отца, — сказал я Георгию, — а ты, Зденка, напоила бы его чем-нибудь, ведь он, того гляди, упадет.

— Отец, — промолвил Георгий, подойдя к Горче, — покажи свою рану, я в этом знаю толк, перевяжу тебя...

Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок:

— Оставь, коли не умеешь, больно мне!

— Так ты в сердце ранен! — вскричал Георгий и весь побледнел. — Скорей, скорей раздевайся, так надо — слышишь!

Старик вдруг выпрямился во весь рост.

— Берегись, — сказал он глухо, — дотронешься до меня — прокляну!

Петр встал между отцом и Георгием.

— Оставь его, — сказал он, — ты же видишь, больно ему.

— Не перечь, — проговорила жена, — знаешь ведь, он этого никогда не терпел.

В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший

стадо, не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но едва только он завидел Горчу, как остановился, ошетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось.

— Что с этим псом? — спросил старик, сердчая все более. — Что все это значит? За десять дней, что меня не было, неужто я так переменялся, что и собственный пес меня не узнаёт?

— Слышишь? — сказал своей жене Георгий.

— А что?

— Сам говорит, что десять дней прошло!

— Да нет же, ведь он в срок воротился!

— Ладно, ладно, я уж знаю, что делать.

Пес не переставая выл.

— Застрелить его! — крикнул Горча. — Это я приказываю — слышите!

Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах встал, взял отцовскую пищаль и выстрелил в пса — тот покатился в пыли.

— А был он мой любимец, — проговорил он совсем тихо. — С чего это отец велел его застрелить?

— Он того заслужил, — ответил Горча. — Ну, стало свежо, в дом пора!

Тем временем Зденка приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий, и уселся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное.

Потрескивали сосновые дрова, и дрожащие отблески огня падали на его лицо, такое бледное, такое изможденное, что, если бы не это освещение, его вполне можно было принять за лицо покойника. Зденка к нему подседа и сказала:

— Ты, отец, ни есть не хочешь, ни спать не ложишься. Может, расскажешь, как ты охотился в горах?

Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую чувствительную струну, так как он любил поговорить о боях и сражениях. И в самом деле, на его бескровных губах появилось что-то вроде улыбки, хотя глаза смотрели безучастно, и он ответил, глядя ее по чудесным белокурым волосам:

— Ладно, дочка, ладно, Зденка, я тебе расскажу, что со мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз, а то сегодня я устал. Одно скажу — нет в живых Алибека, и убил его я. А ежели кто сомневается, — прибавил старик, окидывая взглядом свою семью, — есть чем доказать!

И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его собственное лицо могло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи! Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее Петру и сказал:

— На, прицепи над нашей дверью — пусть знает всякий, кто пройдет мимо дома, что Алибек убит и никто больше не разбойничает на дороге, кроме разве султанских янычар!

Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано.

— Теперь понимаю, — сказал он, — бедный пес был оттого, что почуял мертвечину!

— Да, почуял мертвечину, — мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся: в руке он держал какой-то предмет, который тут же поставил в угол, — как мне показалось, это был кол.

— Георгий, — вполголоса сказала ему жена, — да неужто ты...

— Брат, что ты затеял? — заговорила и сестра. — Да нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?

— Не мешайте, — ответил Георгий, — я знаю, что мне делать, и что надо — то сделаю.

Тем временем настала ночь, и семья ушла спать в ту часть дома, которую от моей комнаты отделяла лишь тонкая стенка. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Свеча уже не горела, а в маленькое низенькое окошко возле самой моей постели всюду светила луна, так что на пол и на стены ложились белые пятна вроде тех, что падают сейчас здесь, в гостиной, где мы с вами сидим, милостивые государины. Я хотел заснуть, но не мог. Свою бессонницу я приписал влиянию лунного света и стал искать, чем бы завесить окно, но ничего не нашел. Тут за перегородкой глухо слышались голоса, и я прислушался.

— Ложись, жена, — сказал Георгий, — и ты, Петр, ложись, и ты, Зденка. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу за вас.

— Да нет, Георгий, — отвечала жена, — уж скорее мне сидеть, ты прошлую ночь работал, наверно, устал. Да и так мне надо приглядеть за старшим мальчиком — ты же знаешь, ему со вчерашнего не-здоровится!

— Будь спокойна и ложись, — говорил Георгий, — я посижу и за тебя!

— Да послушай, брат, — промолвила теперь нежным, тихим голосом Зденка, — по мне, так нечего и сидеть. Отец уже уснул, и смотри, как мирно и спокойно он спит.

— Ничего-то вы обе не понимаете, — возразил Георгий тоном, не допускающим противоречия. — Говорю вам — ложитесь, а я спать не буду.

Тут воцарилась полная тишина. Вскоре же я почувствовал, как отяжелели мои веки, и сон меня одолел.

Но вдруг дверь в комнату как будто медленно отворилась, и на пороге встал Горча. Я, впрочем, скорее догадывался об этом, чем видел его, потому что там, откуда он вышел, было совершенно темно. Его погасшие глаза — так мне чудилось — старались проникнуть в мои мысли и следили за тем, как подымается и опускается моя грудь. Потом он сделал шаг, еще — другой, затем, с чрезвычайной осторожностью, неслышно ступая, стал подходить ко мне. Вот одним прыжком он очутился у моей кровати. Я испытывал невыразимое чувство гнета, но неодолимая сила сковывала меня. Старик приблизил ко мне свое мертвенно-бледное лицо и так

низко наклонился надо мною, что я словно ощущал его трупное дыхание. Тогда я сделал сверхъестественное усилие и проснулся весь в поту. В комнате не было никого, но, бросив взгляд на окно, я ясно увидел старика Горчу, который снаружи прильнул лицом к стеклу и не сводил с меня своих страшных глаз. У меня хватило силы, чтобы не закричать, и самообладания, чтобы не подняться с постели, как если бы я ничего и не видел. Старик, однако, приходил, по-видимому, лишь удостовериться, что я сплю, по крайней мере, он и не пытался войти ко мне и, внимательно на меня поглядев, отошел от окна, но я услышал, как он ходит в соседней комнате. Георгий заснул и храпел так, что стены чуть не сотрясались. В эту минуту кашлянул ребенок, и я различил голос Горчи, он спрашивал:

— Ты, малый, не спишь?

— Нет, дедушка, — отвечал мальчик, — мне бы с тобой поговорить.

— А, поговорить со мной? А о чем поговорить?

— Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками, — я бы тоже пошел воевать с турками!

— Я, милый, так и думал и принес тебе маленький ятаган — завтра дам.

— Ты, дедушка, лучше дай сейчас — ведь ты не спишь.

— А почему ты, малый, раньше не говорил, пока светло было?

— Отец не позволил.

— Бережет тебя отец. А тебе, значит, скорее хочется ятаганчик?

— Хочется, да только не здесь, а то вдруг отец проснется!

— Так где же?

— А давай выйдем, я буду умный, шуметь не стану.

Мне словно послышался отрывистый глухой смех старика, а ребенок начал, кажется, вставать. В вампиров я не верил, но после кошмара, только что посетившего меня, нервы у меня были напряжены, и я, чтобы ни в чем не упрекать себя позднее, поднялся и ударил кулаком в стену. Этим ударом можно было бы, кажется, разбудить всех семерых спящих, но хозяева, очевидно, и не услышали моего стука. С твердой решимостью спасти ребенка я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи, и замки не поддавались моим усилиям. Пока я еще пытался высадить дверь, я увидел в окно старика, проходившего с ребенком на руках.

— Вставайте, вставайте! — кричал я что было мочи и бил кулаком в перегородку. Тут только проснулся Георгий.

— Где старик? — спросил он.

— Скорей беги, — крикнул я ему, — он унес мальчика!

Георгий ударом ноги выломал дверь, которая, так же как моя, была заперта снаружи, и побежал к лесу. Мне наконец удалось разбудить Петра, невестку его и Зденку. Мы все вышли из дому и немного погодя увидели Георгия, который возвращался уже

с сыном на руках. Он нашел его в обмороке на большой дороге, но ребенок скоро пришел в себя, и хуже ему как будто не стало. На расспросы он отвечал, что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто поговорить, но на воздухе у него закружилась голова, а как это было — он не помнит. Старик же исчез.

Остаток ночи, как нетрудно себе представить, мы провели уже без сна.

Утром мне сообщили, что по Дунаю, пересекавшему дорогу в четверти мили от деревни, начал идти лед, как это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если б я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Зденку, тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государины, не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую, примеры которой нам рисуют романы, но я полагаю, что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно. Своеобразная прелесть Зденки, это странное сходство с герцогиней де Грамон, от которой я бежал из Парижа и которую вновь встретил здесь в таком живописном наряде, говорящую на чуждом и гармоничном наречии, эта удивительная складочка на лбу, ради которой я во Франции тридцать раз готов был поставить жизнь на карту, все это, вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно быть,

на зреющее в моей душе чувство, которое при других обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и мимолетно.

Днем я услышал, как Зденка разговаривала со своим младшим братом.

— Что же ты обо всем этом думаешь? — спрашивала она. — Неужто и ты подозреваешь отца?

— Подозревать не решусь, — отвечал ей Петр, — да к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого не сделал. А что нет его — так ты ведь знаешь, он всегда так уходил и отчета не давал.

— Да, знаю, — сказала Зденка, — а коли так, надо его спасти: ведь ты знаешь Георгия...

— Да, да, верно. Говорить с ним нечего, но мы спрячем кол, а другого он не найдет: в горах с нашей стороны ни одной осины нет!

— Ну да, спрячем кол, только детям об этом — ни слова, а то они еще начнут болтать при Георгии.

— Нет, ни слова им, — сказал Петр, и они расстались.

Пришла ночь, а о старике Горче ничего не было слышно. Я, как и накануне, лежал на кровати, а луна вовсю освещала мою комнату. Уже когда сон начал туманить мне голову, я вдруг словно каким-то чутьем уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо, прижавшееся к окну.

Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможным. Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился,

и я слышал, как он обходил дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий и его жена. Ребенок в постели заворочался и застонал во сне. Несколько минут стояла тишина, потом я снова услышал стук в окно. Ребенок опять застонал и проснулся.

— Это ты, дедушка? — спросил он.

— Я, — ответил глухой голос, — принес тебе ятаганчик.

— Только мне уйти нельзя, отец запретил!

— Тебе и не надо уходить, открой окошко да поцелуй меня!

Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно. Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и начал стучать в стену. Мгновенье спустя Георгий уже был на ногах. Он выругался, жена его громко вскрикнула, и вот уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без сознания. Горча исчез, как и накануне. Мы общими стараниями привели мальчика в чувство, но он очень был слаб и дышал с трудом. Он, бедный, не знал, как случился с ним обморок. Мать его и Зденка объясняли это тем, что ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом. Я молчал. Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять улеглись.

Незадолго до рассвета я услышал, как Георгий будит жену, и они заговорили шепотом. К ним пришла и Зденка, и я услышал, как она и ее невестка плачут.

Ребенок лежал мертвый.

Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако, не обвинил в случившемся старика Горчу. По крайней мере, открыто об этом не говорили.

Георгий молчал, но в выражении его лица, всегда несколько мрачном, теперь было и что-то страшное. В течение двух дней старик не появлялся. В ночь на третьи сутки (после похорон ребенка) мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос, который звал меньшого мальчика. Мне также показалось на мгновение, что старик Горча прижался лицом к окну, но я не смог решить, было ли это в действительности или то была игра воображения, потому что в ту ночь луна скрывалась за облаками. Все же я счел своим долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика, и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед, и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал сыну разбудить его, если старик покажется еще.

Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к Зденке нежность, которая все больше усиливалась.

Днем мне не привелось говорить с нею наедине. Когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде сжалось сердце. Комната Зденки была отделена от моей сенями, которые с одной стороны выходили на улицу, с другой — во двор.

Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову пойти побродить вокруг, чтобы немного

рассеяться. Выйдя в сени, я заметил, что дверь в комнату Зденки приотворена.

Невольно я остановился. Шорох платья, такой знакомый, заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись слова песни, напеваемой вполголоса. То было прощание сербского короля со своей милой, от которой он уходил на войну:

«Молодой ты мой тополь, — говорил старый король, — я на войну уйду, а ты забудешь меня.

Стройны и гибки деревья, что растут у подножья горы, но стройнее и гибче юный твой стан!

Красны ягоды рябины, что раскачивает ветер, но ягод рябины краснее губы твои!

А я-то — что старый дуб без листьев, и пены Дуныя моя борода белей!

И ты, сердце мое, меня забудешь, и умру я с тоски, потому что враг не посмеет убить старого короля!»

И промолвила ему красавица: «Клянусь — не забуду тебя и останусь верна тебе. А коли клятву нарушу, приди ко мне из могилы и высоси кровь моего сердца».

И сказал старый король: «Пусть будет так!» И ушел на войну. И скоро красавица его забыла!..»

Тут Зденка остановилась, словно ей было боязно кончать песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос, такой нежный, такой душевный, был голос самой герцогини де Грамон... Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. Зденка только что сняла с себя нечто вроде казакина, какой в тех местах

носят женщины. На ней оставалась теперь шитая золотом и красным шелком сорочка и стянутая у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена и слегка покраснела.

— Ах, — сказала она мне, — зачем ты пришел, ведь коли нас увидят — что обо мне подумают?

— Зденка, сердце мое, — отвечал я ей, — не бойся: лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе.

— Нет, милый, иди скорей, иди! Застанет нас мой брат — я тогда погибла.

— Нет, Зденка, я уйду только тогда, когда ты мне пообещаешь, что будешь меня любить всегда, как красавица обещала королю в той песне. Я скоро уеду, Зденка, и как знать, когда мы опять увидимся? Зденка, ты дороже мне моей души, моего спасения... И жизнь моя, и кровь — твои. Неужели ты за это не подаришь мне один час?

— Всякое может случиться за один час, — задумчиво ответила Зденка, но не отняла у меня своей руки. — Не знаешь ты моего брата, — прибавила она и вздрогнула, — уж я чувствую — придет он.

— Успокойся, моя Зденка, — сказал я в ответ, — брат твой устал от бессонных ночей, его убаюкал ветер, что играет листвою. Сон его глубок, ночь длинна, и я прошу тебя — побудь со мной час! А потом — прости... может быть, навсегда!

— Нет, нет, только не навсегда! — с жаром сказала Зденка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись своего же голоса.

— Ах, Зденка, — воскликнул я, — я вижу одну тебя, слышу одну тебя, я уже себе не господин, а покорен какой-то высшей силе — прости мне, Зденка!

И я, как безумный, прижал ее к сердцу.

— Ах нет, ты мне не друг, — проговорила она, вырвавшись из моих объятий, и забилась в дальний угол. Не знаю, что я ей ответил, так как и сам испугался своей смелости — не потому, чтобы иногда в подобных обстоятельствах она не приносила мне удачи, а потому, что мне даже и в пылу страсти чистота Зденки продолжала внушать глубокое уважение.

Вначале я, правда, вставил было несколько галантных фраз из числа тех, которые встречали невраждебный прием у красавиц минувшего времени, но, устыдившись тут же, отказался от них, видя, что девушка в простоте своей не может понять тот смысл, который вы, милостивые государины, судя по вашим улыбкам, угадали с полуслова.

Так я и стоял перед ней и не знал, что сказать, как вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит на окно. Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи, который, не двигаясь, следил за нами.

В тот же миг я почувствовал, как чья-то тяжелая рука опускается мне на плечо. Я обернулся. Это был Георгий.

— Ты что тут делаешь? — спросил он меня. Озадаченный этим резким вопросом, я только показал рукой на его отца, который смотрел на нас в окно и скрылся, как только Георгий его увидал.

— Я услышал шаги старика, — сказал я, — и пошел предупредить твою сестру.

Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочитать мои сокровеннейшие мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел.

На следующий день семья сидела у дверей дома за столом, уставленным всякой молочной снедью.

— Где мальчик? — спросил Георгий.

— На дворе, — ответила мать, — играет себе один в свою любимую игру, будто воюет с турками.

Не успела она проговорить эти слова, как перед нами, к нашему величайшему удивлению, появилась высокая фигура Горчи; он, выйдя из лесу, медленно подошел к нам и сел к столу, как это уже было в день моего приезда.

— Добро пожаловать, батюшка, — еле слышно пролепетала невестка.

— Добро пожаловать, — тихо повторили Зденка и Петр.

— Отец, — голосом твердым, но меняясь в лице, произнес Георгий, — мы тебя ждем, чтоб ты прочел молитву!

Старик, нахмутив брови, отвернулся.

— Молитву, и тотчас же! — повторил Георгий. — Перекрестись — не то, клянусь святым Георгием...

Зденка и невестка склонились к старику, умоляя прочитать молитву.

— Нет, нет, нет, — сказал старик, — не властен он мне приказывать, а коли потребует еще раз, проклянута!

Георгий вскочил и побежал в дом. Он сразу же и вернулся — взгляд его сверкал бешенством.

— Где кол? — крикнул он. — Где вы спрятали кол?

Зденка и Петр переглянулись.

— Мертвец! — обратился тогда Георгий к старику. — Что ты сделал с моим старшим? Отдай мне сына, мертвец!

И он, пока говорил, все более и более бледнел, а глаза его разгорались все ярче.

Старик смотрел на него злым взглядом и не двигался.

— Кол! Где кол? — крикнул Георгий. — Кто его спрятал, тот и в ответе за все горе, что нас ждет!

В тот же миг мы слышали веселый звонкий смех меньшого мальчика, и он тут же появился верхом на огромном колу, который волочил за собой, слабеньким детским голоском испуская тот воинственный клич, с каким сербы бросаются на неприятеля.

Глаза у Георгия так и вспыхнули. Он вырвал у мальчика кол и ринулся на отца. Тот дико завыл и побежал в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста казалась сверхъестественной.

Георгий гнался за ним по полю, и мы скоро потеряли их из виду.

Уже зашло солнце, когда Георгий возвратился домой, бледный как смерть и с взъерошенными волосами. Он сел у очага, и зубы у него, кажется, стучали. Никто не решался расспросить его. Но вот настал час, когда семья обыкновенно расходилась; он теперь, по-видимому, вполне овладел собою и, отведя меня в сторону, сказал как ни в чем не бывало:

— Дорогой гость, был я на реке. Лед прошел, помехи в дороге нет, теперь ты можешь ехать. Прощаться с нашими нечего, — прибавил он, бросив взгляд на Зденку. — Дай тебе бог всякого счастья (так они велели тебе сказать), да и ты, даст бог, не помянешь нас лихом. Завтра чуть свет уж лошадь твоя будет стоять оседланная и проводник тебя будет ждать. Прощай, может, вспомнишь когда своих хозяев, и уж не сердись, коли жилось тут не так покойно, как бы надо было.

Жесткие черты лица Георгия в ту минуту выражали почти что дружелюбие. Он проводил меня в комнату и в последний раз пожал мне руку. Потом он снова вздрогнул, и зубы у него застучали, словно бы от холода.

Оставшись один, я, как вы легко можете себе представить, и не подумал ложиться спать. Меня одолевали мысли. В жизни я любил уже не раз. Знал я и порывы нежности, приступы досады и ревности, но никогда еще, даже расставаясь с герцогиней

де Грамон, я не испытывал такой скорби, какая сейчас терзала мне сердце. Не взошло и солнце, а я уже оделся по-дорожному и хотел было попытаться в последний раз увидеть Зденку. Но Георгий ждал меня в сениях. Исчезла всякая возможность даже взглянуть на нее.

Я вскочил на лошадь и пустил ее во весь опор. Я давал себе обещание на обратном пути из Ясс захватить в эту деревню, и такая надежда, пусть самая отдаленная, мало-помалу рассеяла мои заботы. Я уже с удовольствием думал о том, как вернуться, и воображение рисовало мне всякие подробности, но вдруг резким движением лошадь чуть не выбила меня из седла. Тут она стала как вкопанная, вытянула передние ноги и тревожно фыркнула, как бы давая знать о близкой опасности. Я внимательно осмотрелся кругом и в сотне шагов увидел волка, который рылся в земле. Так как я его вспугнул, он побежал, а я вонзил шпоры в бока лошади и заставил ее тронуться с места. А там, где стоял волк, я теперь увидел свежерытую могилу. Мне также показалось, что из земли, разрытой волком, на несколько вершков выступал кол. Этого, однако, я не утверждаю с уверенностью, так как быстро проскакал мимо того места.

Маркиз замолк и взял щепотку табаку.

— И это все? — спросили дамы.

— Увы, нет! — ответил г-н д'Юрфе. — То, что осталось досказать вам, — мое мучительнейшее воспоминание, и я дорого бы дал, чтобы расстаться с ним.

Дела, по которым я приехал в Яссы, задержали меня там дольше, чем я предполагал. Я завершил их лишь через полгода.

И что же? Печально сознавать, и все же нельзя не признать ту истину, что нет на свете долговечных чувств. Успех моих переговоров, одобрения, которые я получал от версальского кабинета, словом, политика, та противная политика, что так надоела нам за последнее время, в конце концов приглушила для меня воспоминание о Зденке. К тому же и супруга молдавского господаря, женщина очень красивая и в совершенстве владевшая нашим языком, с первых же дней моего приезда удостоила меня чести, оказывая мне особое предпочтение перед другими молодыми иностранцами, находившимися тогда в Яссах. Меня, воспитанного в правилах французской галантности, с галльской кровью в жилах, просто возмутила бы самая мысль о том, чтобы ответить неблагодарностью на выражаемую мне благосклонность. И я со всей учтивостью принимал знаки внимания, проявляемого ко мне, а чтобы получить возможность лучше защищать права и интересы Франции, я и на все права, и на все интересы господаря начал смотреть как на свои собственные.

Когда меня отозвали в Париж, я избрал ту же дорогу, какой и прибыл в Яссы.

Я не думал уже ни о Зденке, ни о ее семье, как вдруг однажды вечером, проезжая полями, услышал звук колокола, ударившего восемь раз. Этот звон

мне был как будто знаком, и проводник сообщил мне, что звонили неподалеку в монастыре. Я спросил, как он называется, и узнал, что это — монастырь «божьей матери дубравной». Я пришпорил коня, и немного спустя мы уже стучали в монастырские ворота. Монах впустил нас и повел в помещение, отведенное для путешественников. В нем оказалось столько паломников, что у меня пропала всякая охота ночевать здесь, и я спросил, удастся ль мне найти пристанище в деревне.

— Пристанище-то найдется, — ответил с глубоким вздохом отшельник, — пустых домов там вдоволь — а все проклятый Горча!

— Как это понимать? — спросил я. — Старик Горча все еще жив?

— Да нет, он-то похоронен взаправду, и в сердце — кол! Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик и вернулся ночью, плакал под дверью, ему, мол, холодно и домой хочется. У дуры-матери, хоть она сама его и хоронила, не хватило духа прогнать мальчика на кладбище, — она и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась и высосала кровь у меньшого мальчика, потом — у мужа, а потом у деверя. Всем — один конец.

— А Зденка? — спросил я.

— Ах, она от горя с ума сошла, бедняжка, — уж лучше и не говорить!

В этом ответе была какая-то неопределенность, но переспросить я не решился.

— Вурдалаки — это как зараза, — продолжал отшельник и перекрестился, — сколько уж семей в деревне пострадало, сколько их вымерло до последнего человека, и вы меня послушайте и переночуйте в монастыре, а не то, даже коли вас в деревне не съедят вурдалаки, вы от них все равно такого страху натерпитесь, что поседеее прежде, чем я прозвоню к заутрене. Я, — продолжал он, — всего лишь бедный монах, но путешественники сами от щедрот своих дают столько, что и я могу позаботиться о них. Есть у меня отменный сыр, изюм такой, что посмотреть на него — слюнки потекут, да несколько бутылок токайского — не хуже того, что изволит пить сам святейший патриарх.

В эту минуту на моих глазах отшельник словно превращался в трактирщика. Он, как мне подумалось, нарочно порассказал мне небылиц, чтобы дать мне случай сделать нечто угодное небесам и уподобиться щедротами тем путешественникам, которые святому мужу столько дают, что и он может позаботиться о них.

Да и самое слово «страх» производило на меня то же действие, что звуки трубы на боевого коня. Мне себя было бы стыдно, если бы я не отправился немедленно. Проводник мой, весь дрожа, просил позволения остаться здесь — это я охотно разрешил.

Мне потребовалось с полчаса, чтобы доехать до деревни. Она, как выяснилось, была безлюдна. Ни в одном окошке не блестел огонь, нигде не слышалась песня. В тишине проехал я мимо всех этих

домов, по большей части знакомых мне, и остановился перед домом Георгия. То ли поддавшись чувствительным воспоминаниям, то ли движимый своей молодой смелостью, но я решил переночевать тут.

Я соскочил с лошади и постучал в ворота. Никто не отзывался. Я толкнул ворота, они под визг петель открылись, и я вошел во двор.

Не расседывая лошадь, я привязал ее под навесом, где оказался достаточный для ночи запас овса, и направился прямо в дом.

Ни одна дверь не была затворена, а между тем все комнаты казались нежилыми. Только комната Зденки имела такой вид, как будто ушли из нее лишь вчера. На постели были брошены платья. На столе в лунном свете блестело несколько драгоценных вещей, подаренных мною, и среди них я заметил эмалевый крестик, который я купил в Пеште. Сердце у меня невольно сжалось, хотя любовь уже и прошла. Как бы то ни было, я закутался в плащ и улегся на постель. Скоро меня одолел сон. Того, что мне снилось, я не помню в подробностях, но знаю, что видел Зденку, прелестную, простодушную, любящую, как прежде. Глядя на нее, я упрекал себя в черствости и в непостоянстве. Как я мог, спрашивал я себя, как я мог бросить это милое дитя, которое меня любило, как мог я ее забыть? Вскоре мысль о ней слилась с мыслью о герцогине де Грамон, и в этих двух образах мне уже представлялась одна и та же женщина. Я пал к ногам Зденки и молил ее

о прощении. Все мое существо, всю мою душу охватило невыразимое чувство грусти и любви.

Вот это мне и снилось, как вдруг меня наполовину пробудил некий гармоничный звук, подобный шелесту нивы, по которой пробегает ветерок. Мне будто слышался мелодичный звон колеблемых колосьев, и пение птиц сливалось с рокотом водопада и с шепотом листвы. Потом все эти неясные звуки мне представились не чем иным, как шорохом женского платья, и на этой догадке я остановился. Открыв глаза, я увидел Зденку около своего ложа. Луна сверкала так ярко, что теперь я до мельчайших подробностей мог во всей их прелести различить дорогие мне когда-то черты, а что они значили для меня — это впервые мне дал почувствовать мой сон. Зденка, оказывается, и похорошела, и развилась. Она точно так же была полуодета, как и в прошлый раз, когда я видел ее одну, — в простой сорочке, вышитой золотом и шелком, и в юбке, туго стянутой у талии.

— Зденка! — сказал я, подымаясь с постели. — Зденка, ты ли это?

— Да, это я, — отвечала она голосом тихим и печальным, — это я, твоя Зденка, которую ты забыл. Ах, зачем ты не вернулся раньше? Теперь всему конец, тебе надо скорее уезжать; еще минута — и ты пропал! Прощай, милый, прощай навсегда!

— Зденка, — сказал я, — у тебя, мне говорили, много было горя. Иди ко мне, побеседуем — так тебе станет легче!

— Ах, милый, — промолвила она, — не всему надо верить, что про нас говорят, но только поезжай, поезжай скорей, а коли останешься — гибели не миновать.

— Да что это за беда мне угрожает, Зденка? И неужели нельзя мне пробыть и часа, одного только часа, чтобы поговорить с тобой?

Зденка вздрогнула, и какая-то странная перемена совершилась в ней.

— Да, — произнесла она, — час, один только час — верно ведь? — как в тот раз, когда я пела песню про старого короля, а ты пришел вот в эту комнату? Ты про то говоришь? Хорошо же, пускай, пробудь со мной час! Нет, нет, — опомнилась она вдруг, — уходи, уходи! Уходи скорей, слышишь, беги!.. Да беги же, пока не поздно!

Черты ее одушевляла какая-то дикая энергия.

Я не мог объяснить себе причину, которая заставляла ее так говорить, но Зденка была так хороша, что я решил, не слушаясь ее, остаться. Она же, уступив наконец моим просьбам, уселась рядом со мной, заговорила о прошлом и, краснея, призналась, что полюбила меня сразу, как увидела. Мне между тем становилась постепенно заметной огромная перемена, которая с ней произошла. Ее бывшая сдержанность сменилась какой-то странной вольностью в обращении. Во взгляде ее, когда-то таком застенчивом, появилось что-то дерзкое. И по тому, как она держалась со мной, я с изумлением понял, что в ней мало осталось от той скромности, которая отличала ее некогда.

«Неужели же, — думал я, — Зденка не была той чистой и невинной девушкой, какой она казалась два года тому назад? Неужели она только притворялась из страха перед братом? Неужели я так грубо был обманут добродетельной внешностью? Но тогда почему же она уговаривала меня уехать? Или это, чего доброго, какое-то утонченное кокетство? А я еще думал, что знаю ее! Но все равно! Если Зденка и не Диана, какую я воображал ее себе, то я могу сравнить ее с другой богиней, не менее очаровательной и, ей-богу же, роль Адониса я предпочту роли Актеона!»

Если эта классическая фраза, с которой я обратился к самому себе, покажется вам старомодной, милостивые государыни, то примите в соображение, что я рассказываю вам о делах, случившихся в лето господне тысяча семьсот пятьдесят девятое. Мифология занимала тогда все умы, а я не имел притязаний на то, чтобы опередить свой век. Все с тех пор изменилось, а в не столь давние времена революция, упразднив воспоминания язычества, равно как и христианскую веру, поставила на их место богиню Разума. Богиня эта, милостивые государыни, никогда не покровительствовала мне, если я находился в обществе, подобном вашему, а в то время, о котором я повествую, я был менее чем когда-либо склонен приносить ей жертвы. Я всецело отдался чувству, которое влекло меня к Зденке, а она заигрывала со мной, и я весело отвечал ей в том же духе. Прошло уже некоторое

время, как мы находились в такой упоительной близости друг к другу, но вот, примерив Зденке забавы ради все ее драгоценности, я собрался надеть ей на шею эмалевый крестик, который я нашел на столе. Зденка вздрогнула и отшатнулась.

— Милый, довольно ребячиться, — сказала она, — оставь эти побрякушки, поговорим лучше о тебе, о твоих делах!

Ее замешательство навело меня на всякие мысли. Внимательней приглядываясь к ней, я заметил, что на шее у нее не было, как раньше, всех тех образков, ладанок, которые сербы в великом множестве носят с детства до самой смерти.

— Зденка, — спросил я, — где образки, что ты носила на шее?

— Потеряла, — с раздражением в голосе ответила она и тотчас заговорила о другом.

Во мне заговорило какое-то темное предчувствие, я не сразу его и осознал. Я уже собрался уходить, но Зденка удерживала меня.

— Как же это, — сказала она, — ты просил меня побыть с тобой час, а уж хочешь ехать!

— Ты права была, Зденка, что уговаривала меня ехать; я как будто слышу шум, боюсь, как бы нас не застали!

— Не бойся, милый, все кругом спит, лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе!

— Нет, Зденка, нет, надо мне ехать!

— Погоди, погоди, — сказала Зденка, — ты дороже мне души моей, спасения моего, а ты говорил мне, что жизнь твоя и кровь — мои!..

— Но брат твой, Зденка, брат — чувствую я, что он придет.

— Успокойся, сердце мое, брат мой спит, его убаюкал ветер, что играет листвою. Сон его глубок, ночь длинна, а я тебя прошу — побудь со мной час!..

Зденка, когда говорила эти слова, была так хороша, что безотчетный ужас, томивший меня, уже уступил желанью остаться с ней. Все мое существо наполнило чувство, которое невозможно изобразить, — какая-то смесь боязни и вожделения. По мере того как моя воля ослабевала, Зденка становилась все нежнее, и я наконец решился уступить, вместе с тем давая себе слово быть настороже. Однако же я, как говорил вам только что, бывал всегда благоразумен лишь наполовину, и, когда Зденка, заметив мою сдержанность, предложила прогнать ночной холод несколькими стаканами благородного вина, которое, по ее словам, достала у доброго отшельника, я согласился с такой готовностью, что она даже улыбнулась. Вино произвело свое действие. Неприятное впечатление, вызванное пропажей образков и ее нежеланием надеть крестик, совершенно рассеялось уже на втором стакане, Зденка в своем небрежном наряде, с чудесными полураспущенными волосами, с драгоценностями, блестевшими при лунном свете, показалась мне неотразимой. Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял.

Тут, милостивые государыни, мне было одно из тех таинственных откровений, объяснить которые я не сумею, но в которые я поневоле уверовал — в силу жизненного опыта, хотя раньше я и не склонен был признавать их.

Зденку я обвил руками с такой силой, что от этого движения крестик, который я вам показывал и который перед моим отъездом мне дала герцогиня де Грамон, острием вонзился мне в грудь. Острая боль, которую я ощутил в этот миг, явилась для меня как бы лучом света, пронизавшего все вокруг. Я посмотрел на Зденку, и мне стало ясно, что черты ее, все еще, правда, прекрасные, искажены смертной мукой, что глаза ее не видят и что ее улыбка — лишь судорога агонии на лице трупа. В тот же миг я почувствовал в комнате тлетворный запах — как из непритворенного склепа. Страшная истина предстала мне теперь во всем своем безобразии, и я, хоть и слишком поздно, вспомнил о предостережениях монаха. Я понял всю опасность своего положения и осознал, что все будет зависеть от моей отваги и самообладания. Я отвернулся от Зденки, чтобы не дать ей заметить ужас, написанный, должно быть, на моем лице. Тут взгляд мой упал на окно, и я увидел страшного Горчу, который опирался на окровавленный кол и, не отрываясь, смотрел на меня глазами гиены. За другим окном вырисовывалось бескровное лицо Георгия, который в эту минуту до ужаса похож был на отца. Оба они, казалось, следили за каждым

моим движением, и я не сомневался, что при первой же моей попытке бежать они набросятся на меня. Поэтому я не показал вида, что их заметил, и огромным усилием воли заставил себя, милостивые государины, да, заставил себя расточать Зденке такие же ласки, как и до этого страшного открытия. В то же время я с тоской и тревогой думал о том, как вырваться отсюда. Я заметил, что Горча и Георгий переглядываются со Зденкой и что им уже надоедает ждать. За стеной мне слышался также и голос женщины и крик детей, но такой ужасный, что его скорее можно было принять за вой диких кошек.

«Пора убираться, — подумал я, — и чем быстрее, тем лучше».

Обратившись к Зденке, я сказал погромче — так, чтобы меня услышала ее страшная родня:

— Я, дитя мое, очень устал, хочется лечь и поспать несколько часов, но сперва надо мне сходить посмотреть, не съел ли мой конь свой овес. Ты, пожалуйста, не уходи и дождись меня.

Я коснулся губами ее холодных, безжизненных губ. Лошадь моя, вся в пене, так и рвалась со своей привязи. Она и не дотронулась до овса, а от ржания, которым она меня встретила, я весь похолодел: я боялся, как бы оно не выдало мои намерения. Однако вампиры, слышавшие, наверно, мой разговор со Зденкой, еще не встревожились. Я посмотрел, открыты ли ворота, вскочил в седло и дал коню шпоры.

Выезжая из ворот, я успел заметить, что сборище вокруг дома было весьма многочисленно и что большинство пришельцев прижимались глазами к стеклам окон. Кажется, мое внезапное бегство озадачило их сперва, так как некоторое время я не различал в ночном безмолвии иных звуков, кроме мерного топота моего коня. Я уже почти поздравлял себя с удачей, к которой привела моя хитрость, как вдруг услышал позади некий шум — точно рев урагана, разбушевавшегося в горах. Кричали, выли и как будто спорили друг с другом тысячи голосов. Потом все они, точно по уговору, умолкли, и слышен стал только быстрый топот ног, как если бы отряд пехотинцев приближался беглым шагом.

Я погонял своего коня, немилосердно вонзая ему в бока шпоры. В крови моей разливался лихорадочный огонь, я напрягался, делал над собой невероятные усилия, чтобы сохранить присутствие духа, и вдруг услышал позади себя голос:

— погоди, погоди, милый! Ты дороже мне души моей, спасения моего! погоди, погоди! Твоя кровь — моя!

И меня сразу же коснулось холодное дыхание, и Зденка сзади меня прыгнула на лошадь.

— Сердце мое, милый мой! — говорила она. — Вижу одного тебя, одного тебя хочу, я уже себе не госпожа, надо мной — высшая сила, прости мне, милый, прости!

И, обвивая руками, она пыталась опрокинуть меня назад и укусить за горло. Между нами завязалась

страшная и долгая борьба. Защищался я с трудом, но в конце концов мне удалось схватить Зденку одной рукой за пояс, другою — за косы, и, приподнявшись на стременах, я бросил ее на землю.

Тут силы оставили меня, и начался бред. Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям дороги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось, и я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись, увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем переносятся через пропасти. Горча тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом как пращей, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш вцепился — не хуже настоящего бульдога — в шею моего коня, и я с трудом оторвал его. Другого ребенка мне таким же образом кинули вслед, но он упал прямо под копыта лошади и был раздавлен. Не помню, что произошло еще, но, когда я пришел в себя, было уже вполне светло, я лежал на дороге, а рядом издыхал мой конь.

Так кончилось, милостивые государины, любовное увлечение, которое должно было бы навсегда отбить у меня охоту продолжать в том же духе. А стал ли я впоследствии более благоразумным — об этом вам могли бы рассказать некоторые из ровесниц ваших бабушек.

Как бы то ни было, я и сейчас содрогаюсь при мысли, что если бы враги одолели меня, то и я тоже сделался бы вампиром, но небо того не допустило, и вот, милостивые государыни, я не только ничуть не жажду вашей крови, но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив пролить свою кровь за вас!

*Конец 1830-х или начало 1840-х гг.*

# АМЕНА

(отрывок из романа «Стебловский»)



Солнце уже было на закате, когда я, со стилетом в кармане, пришел в Колизей; но чудное освещение древнего амфитеатра не привлекало моего внимания; жажда мщения кипела в груди моей и вытесняла все другие мысли. Передо мной проходили одно за другим все обстоятельства, приведшие меня в эти развалины; я вспомнил свое знакомство с Пепиной; вспомнил все ядовитые шутки Мореля, который, как злой дух, не переставал преследовать меня во все пребывание мое в Риме; наконец, вспомнил его последнюю обиду и задрожал от ярости... Вдруг послышалось знакомое пение, раздался звон колокольчика, и длинный ряд людей с завешенными лицами вошел в ворота и потянулся вокруг арены, останавливаясь у каждой часовни и читая вполголоса молитвы. Обошел все до одной и преклонив колено перед крестом, на середине арены, братья милосердия в прежнем порядке вышли из амфитеатра; лишь один остался неподвижен, распростертый у подножия креста.

— О друзья мои, прощаете ли вы меня? — произнес он глухо и таким странным голосом, что я невольно затрепетал.

Незнакомец поднял голову, и сквозь прорезанные дыры его покрывала устремились на меня выразительные глаза его.

— Молодой человек, — сказал он, — я знаю, кого ты ожидаешь и с каким намерением, и я затем здесь, чтоб остановить тебя на краю бездны и удержать от преступления.

— Кто ты? — спросил я с изумлением. — И отчего тебе известны мои сокровеннейшие мысли?

— Кто бы я ни был, — отвечал он торжественно, — благодари Бога, что Он дозволил тебе встретить меня, и внемли моим словам: на этом самом месте, где мы теперь стоим, совершилось некогда ужасное преступление, и жестоко за него наказан преступник! Слушай, — продолжал незнакомец, облокотясь на капитель древней колонны, которой обломки разбросаны были по арене, — я расскажу тебе нечто, случившееся давно, очень давно.

«Во времена императора Максимиана жили в Риме два друга, Виктор и Амвросий, и оба они были христиане. Сестра Виктора была помолвлена за Амвросия, и день их свадьбы уже приближался; но не брачный венец Провидение назначало Леонии. В то время кесарь стал преследовать нашу святую веру, и целыми тысячами погибали его жертвы, иные растерзанные зверями, другие сверженные со скалы Тарпейской.

Братья, дети и друзья этих несчастных собрались в отдаленнейшей части Рима и принесли перед крестом торжественный обет: скорее умереть в мучениях еще ужаснейших, чем хотя единым словом отречься от истинного Бога. Виктор и Амвросий были между давшими сей обет. Они бросились в объятия друг друга и подкрепили слезами умиления священную клятву. Дабы существенным символом ознаменовать свой духовный союз, Амвросий снял с себя тогу, надел ее на Виктора, а сам покрывшись тогою своего друга.

— Можем ли мы быть счастливее? — сказал он Виктору. — Сестра твоя скоро будет моею женою; а есть ли в языческой древности хотя один пример такой дружбы, как наша?

— Будем благодарить Всевышнего, — отвечал Виктор, — даровавшего тебе любовь, а мне дружбу, как прекрасное предчувствие ожидающего нас в той жизни блаженства, но не забудем, что велика власть врага человеческого и что козни его неисчислимы. Счастье наше не от мира сего, и мы не должны ему предаваться вполне, но бдеть и молиться, дабы враг не раскинул нам сетей в самую минуту упоения.

Амвросий не отвечал ни слова, но внутренне упрекнул своего друга в излишней боязливости.

В тот самый вечер Амвросий, проходя мимо храма Венеры, которого развалины видны чрез эти ворота, услышал пронзительные вопли, смешанные с неистовыми криками; несколько факелов блеснули перед ним. Выхватив меч, он бросился вперед и увидел четырех преториянцев, влекущих за собою

девушку с распущенными волосами, в растерзанной одежде. Несколько ударов меча рассеяли хищников. Амвросий поднял брошенный одним из них факел и хотел помочь девушке встать, но она была в обмороке. Он стал перед нею на колени и начал тереть ее виски, ладони и подошвы. Вскоре она раскрыла глаза, и лицо ее покрылось румянцем стыдливости, когда она взглянула на свою одежду. Амвросий хотел прикрыть девушку своей тогой, но лишь только сбросил ее с плеч, как услышал опять дикие крики и увидел блеск факелов. Преториянцы возвращались в сопровождении новых товарищей. Крики становились громче, проклятия внятнее, и факелы уже освещали их зверские лица, а Амвросий все еще стоял в недоумении, не зная, как скрыть их беззащитную жертву. Вдруг девушка приподняла голову и указала ему на стену храма, где было проделано, вроде двери, узкое, едва заметное отверстие. Потушив факел, Амвросий взял девушку на руки, вошел в отверстие и, ощупав ногою крутую лестницу, начал спускаться в подземелье.

Ступени уже кончились, он чувствовал под ногами мягкие ковры, но незнакомка все еще обвивала его руками и крепко к нему прижималась.

— Не страшись ничего, — сказал ей Амвросий, — похитители твои далеко, и ты можешь отдохнуть в этом безопасном месте.

— Ах, — отвечала она, — я теперь совершенно спокойна и обнимаю тебя единственно из благодарности.

Сказав это, она ударила в ладони, и две лампы зажглись как будто волшебством. Амвросий увидел

богато убранную залу, среди которой стоял бронзовый стол с сосудами и плодами. У стола находился широкий триклиний, высеченный из красного мрамора и покрытый пурпуровыми подушками. Вдоль стен стояли сиденья из бронзы и мрамора, также покрытые пурпуром.

Когда, по приглашению неизвестной, Амвросий выпил бокал душистого фалерна, она села на триклиний к его ногам и начала следующим образом:

— Тебе, конечно, кажется странным твое приключение, но, чтобы объяснить его, я должна тебе рассказать, кто я и где ты находишься. Я родом из Греции, мое имя Анадиомена, но отец и мать зовут меня просто: Амена.

В Греции жизнь моя текла тихо и спокойно, но лишь только я вступила в Рим, как начались мои несчастья, а виною тому ваш кесарь, изверг Максимиан...

Тут Амвросий остановил Амену и приложил палец к губам.

— Не бойся, — отвечала она, улыбаясь, — стены эти так толсты, что снаружи невозможно слышать ни одного слова. Максимиан, — продолжала она, — увидел меня однажды в храме и решил похитить. Несколько раз избегала я его сетей; но, видя наконец, что мне нельзя показаться на улице без того, чтобы два или три преториянца на меня не напали, я не стала выходить вовсе. В одну ночь толпа сих злодеев ворвалась ко мне в спальню и именем кесаря требовала, чтобы я шла за ними. Я от них ускользнула, нашла случайно это убежище и решила в нем

остаться. Я тайно уведомила отца о своей участи, и он доставляет мне все потребности жизни и присылает поочередно несколько девушек для моей прислуги. Сегодня неизъяснимая грусть мною овладела, и, считая окрестности этого подземелья безопасными, я не вытерпела и вышла подышать свежим воздухом ночи; но едва сделала несколько шагов, как ненавидимые преториянцы схватили меня и, несмотря на мое сопротивление и крики, повлекли за собою... Если бы ты не подоспел ко мне на помощь, я бы теперь была во дворце Максимиана... О, я не могу подумать об этом без ужаса!

Амена закрыла лицо руками, и Амвросий видел, как она покраснела. Оставшись несколько мгновений в этом положении, красавица взглянула на Амвросия и сказала ему с замешательством:

— Рассказывая тебе мои похождения, я и забыла, что платье мое в беспорядке. Если позволишь, я оденусь в твоём присутствии, потому что жилище мое очень тесно...

Она ударила в ладони — и вошли три девушки с разными принадлежностями женского наряда. Сперва Амена дала расчесать себе длинные волосы, потом приказала одной из них держать пред собою покрывало в виде ширм и, сняв тунику, велела освежить себя водою и натереть ароматным маслом. Пока девушки ей прислуживали, Амвросий чувствовал какое-то странное беспокойство; ему казалось, что не кровь, а огонь течет в его жилах. Он решил уйти, не простясь с Аменой, но лишь

только сделал несколько шагов по ступеням, как услышал голос одного из преториянцев.

— Клянусь Геркулесом, — говорил он, — я не отойду отсюда, пока не отыщу этого проклятого молоко-соса и не отрублю ему ушей!

— Этого мало, — отвечал другой, — с ним должно поступить, как Улисс поступил с неверным пастырем коз!

Услыша эти слова, Амвросий счел, что было бы неосторожно показаться кровожадным грабителям, и возвратился к Амене.

— Друг мой, — сказала она, — теперь уж поздно: если тыпустишься в путь об эту пору, то непременно будешь убит. Останься здесь на ночь, а завтра чем свет возвратишься домой. Ты можешь лечь на этой кровати, я же буду спать с своими девушками.

Амвросий чувствовал непреодолимое влечение ко сну и, не отвечая ни слова, опустился на триклиний и вскоре забылся. Сквозь сон он слышал голос Амены, разговаривавшей со своими прислужницами, и шум воды, когда они выжимали гречские губки в серебряные сосуды. Потом звуки эти так смешались, что ему показалось, будто бы то звон бокалов и гармоническое пение, сопровождаемые арфой. Ему представилось, что он сидит за столом, покрытым дорогими яствами и душистыми винами. Седой слепец, стоя перед ним, ударял в струны и пел ту самую песнь, которую в «Одиссее» поет Демодок и где описывается, как Марс и Венера пойманы были сетями Вулкана. Человек в блестящей короне,

сидевший подле него, спросил его, улыбаясь: «Хотел бы ты быть на месте Марса, с тем чтобы тебя, подобно ему, накрыли сетями?» Амвросий вспомнил о своей невесте и хотел сказать: «Нет!» — но язык его нечаянно повернулся, и он невольно произнес: «Да, если бы Венера походила на Амену!» Тут звуки арфы сделались гораздо сладостнее, зала наполнилась облаками, и он почувствовал, что возносится кверху. Когда облака рассеялись, Амвросий находился на высокой горе, откуда виднелись ему цветущие нивы, зеленые леса, светлые реки и необъятное голубое море с бесчисленными островами. Человек в золотой короне сидел пред ним на высоком престоле, окруженный множеством людей в светлых одеждах. Когда он шевелил бровями или потрясал черные кудри, то вся гора дрожала и молнии рассекали гнездившиеся вокруг нее тучи.

— Друг мой, — шепнул ему знакомый голос, — ты теперь на Олимпе и видишь перед собою собрание бессмертных, готовых принять тебя в свой круг, если ты отречешься от христианства!

Амвросий оглянулся и увидел Амену, но он догадался, что то была сама Венера, потому что у ног ее ворковали два голубя.

— Согласен ли ты для меня забыть свою веру? — спросила она опять. — Муж мой стар и хром, ты же, как Марс, и красив, и молод: я охотно променяю на тебя мужа, скажи только, что ты согласен!

Амвросий опять вспомнил о Леонии и хотел сказать: «Нет, ни за что на свете!» — но язык его

вторично повернулся, и он чуть было не проговорил: «Согласен!» — как вдали увидал друга своего Виктора и сестру его Леонию, которые манили его к себе, показывая мученический венец. В эту минуту Амвросий нечаянно поднял глаза, увидел, что над ним раскину-та тонкая сеть из огненных ниток. Амена показалась ему уже не столь прекрасною, а вместо голубей из-под ног ее вспорхнули две летучие мыши. Он сотворил внутреннюю молитву и проснулся.

Вокруг него было темно; но что-то горячее причиняло ему сильную боль в голове, и, ощутив лоб, он почувствовал на нем руку Амены. Он вскочил с кровати и бросился из подземелья; но едва успел пройти несколько шагов, как опять услышал голоса преториянцев.

— Клянусь Геркулесом, — говорил один, — если мне попадется этот мальчишка, то я его растерзаю на части!

— Этого мало, — отвечал другой, — с ним должно поступить, как Тезей поступил с Прокрустом!

Слова эти показались так ужасны Амвросию, что он не решился выйти из подземелья и возвратился ощупью на свое место. Лишь только глаза его сомкнулись, он увидел себя в очаровательной стране, на берегу ручья, где вокруг серебряных тополей вился изумрудный виноградник, скрывая под широкими листьями спелые золотистые грозды. Нимфы играли на мягкой траве с резвыми сатирами, в ручье плескались наяды, а в зелени деревьев пели красивые птицы, из рощи выходили центавры в дубовых венках и, вмешавшись в толпу сатиров

и нимф, начинали с ними веселую пляску. Амвросий чувствовал нестерпимую жажду, но, подобно Танталу, он не мог ни напиться из ручья, ни достать рукою гроздий. В то время как он тщетно нагибался и протягивал руки, сладкий голос произнес близ него:

— Сними с себя крест, хотя на одно мгновение, и ты тотчас утолишь свою жажду!

Он оглянулся и в кругу нимф узнал Амену; но он догадался, что это не Амена, а Венера, ибо на ней был золотой пояс необыкновенной работы, придававший ей удивительную красоту. Он не мог противостоять ее словам и уже дотронулся до креста, как ему показалось, что вдали он видит толпу народа. Вглядевшись в нее пристально, он узнал Виктора; несколько людей клали его на деревянный станок, и палач, с обнаженною грудью, готовился истязать его раскаленными клещами, между тем как четверо других привязывали Леонию к большому колесу.

— Прощай, Амвросий, — кричали ему друг и невеста, — мы умираем за нашу веру и будем молиться у престола Всевышнего, чтобы он избавил тебя от ослепления!

— Нет, мои друзья, и я хочу умереть с вами! — вскричал Амвросий и внезапно проснулся.

Он вскочил с одра и опрометью побежал из подземелья; но лишь только очутился на ступенях, как услышал два грубых голоса.

— Клянусь Геркулесом, — говорил один из них, — если бы теперь попался мне этот повеса, я бы отрубил ему ноги и руки.

— Этого мало, — отвечал другой, — я бы с ним поступил как Аполлон с Марсиасом!

— Я не боюсь ваших угроз! — вскричал Амвросий. — Умереть от рук ваших или от палачей Максимиана для меня все равно!

Он выбежал на свежий воздух и увидел, что уже настало утро. У храма Венеры не было ни одного преторианца, и он спокойно дошел до своего жилища. Слуги Амвросия уведомили его, что ночью стража кесаря вломилась в дом Виктора, наложила на него цепи и увела с собою. Начальник стражи обвинял его в сопротивлении законной власти и в нападении на исполнителей Максимиановых повелений; уликою была тога с именем Виктора, которую преступник, по словам его, сбросил во время бегства. Амвросий поспешил в дом своего друга, чтобы от его сестры узнать подробности этого происшествия. Он застал ее на коленях перед образом Спасителя. Крупные слезы блистали в ее глазах, но лицо ее не показывало никакого отчаяния.

— Амвросий, — сказала она с ангельскою улыбкою, — все несчастья ниспосылаются нам свыше! Сегодня друг твой без всякой вины брошен в темницу; завтра, может быть, погибнет твоя невеста; но да будет воля Господня!»

Тут брат милосердия остановился и, помолчав немного, спросил меня:

— Известны ли тебе картины Рафаэля?

— Да, — отвечал я, — и ни на одну из его мадонн я не могу смотреть без сердечного умиления.

— Так, — продолжал незнакомец, — я вижу, что ты понимаешь великого художника. Но если бы ты знал Леонию, ты бы уверился, что в чертах ее было не менее кротости, не менее небесной чистоты, чем в Рафаэлевых мадоннах.

— Но, — прервал я рассказчика, — ты говоришь об ней, как будто бы сам ее видел?

— Не прерывай меня, — отвечал он торжественно, — и слушай далее.

«Свидание с Леонией произвело на Амвросия странное действие. Ночное происшествие оставило в нем тягостное впечатление, а все, что он думал и ощущал в подземелье Амены, показалось ему так презренно, так нечисто в сравнении с чувством, проникавшим его в присутствии Леонии, что он сам не понимал, как мог забыть ее хотя на одну минуту. Ему хотелось пасть к ее ногам, признаться в своем заблуждении и просить прощения, но ложный стыд удержал его. С другой стороны, он боялся огорчить Леонию, открыв ей, что тога, послужившая уликой Виктору, была брошена им самим и что он не может спасти ее брата, не погибнув вместо его. Однако он решился, не теряя времени, отыскать начальника стражи, освободить Виктора и обвинить себя в преступлении, которое приписывали его другу. Пока он бегал по всему Риму, чтобы узнать, кто именно предводительствовал преториянцами, схватившими Виктора, и в какой темнице он заключен, прошел целый день. Было уже поздно, когда он, собрав

нужные сведения, шел по дороге в темницу. Ему надлежало проходить мимо храма Венеры. Лишь только он поравнялся с местом, где накануне спас Амену, кто-то тихонько назвал его по имени. Он остановился и услышал, что голос выходит из подземелья.

— Сойди ко мне на минуту, — говорил голос, — ты устал, и тебе надобно подкрепить свои силы!

— Не нужно, — отвечал Амвросий довольно сухо и продолжал свой путь.

— Амвросий, Амвросий! — закричал голос. — Я знаю, куда ты спешишь; но ты не спасешь своего друга, а только погибнешь с ним вместе. Есть другое средство его спасти, сойди ко мне, и я тебя научу, что должно делать!

Слова эти показались Амвросию так убедительны, что он спустился в подземелье. Ковры на этот раз были усыпаны свежими розами, и благоухание их было так сильно, что Амвросию показалось, будто бы он от него пьянеет. Амена с полураскрытыми глазами лежала на подушках.

— Я тебя ожидала, — сказала она ему, — и нарочно велела убрать свое жилище как можно лучше. Выпей немного вина и омой себя водою: смотри, как ты устал и запылится! — Она ударила в ладони, и прислужницы внесли несколько сосудов холодной воды и разные ароматы.

Когда Амвросий выпил чашу вина, они сняли с него обувь и, освежив его ноги, окатили ему голову и плечи.

— Теперь ложись и отдохни, — сказала Амена, — а я покамест уйду к своим девушкам.

Амвросий давно хотел ее спросить, каким образом ему спасти Виктора; но лишь только он начинал говорить, Амена его прерывала. Наконец он, не обращая внимания на ее речи, спросил, что ему надобно делать.

— Ты очень нетерпелив, — отвечала Амена, — но, чтобы скорее тебя успокоить, я скажу тебе, как ты должен поступить, чтобы избавить друга твоего от смерти, не подвергая себя опасности. Если ты теперь явишься к тюремному начальнику и скажешь ему, что ты настоящий преступник, а что Виктор невинен, то хотя тебя и посадят в темницу, но Виктора из нее не выпустят; напротив, претор почтет его твоим сообщником, и вместо одной жертвы погибнут две. Вы принадлежите, — продолжала Амена с видом соболезнования, — к такому сословию, которое всякий может губить безнаказанно и для которого нет ни суда, ни законов. Подумай только, что будет с твоей невестой, когда ни брата ее, ни тебя не останется для ее защиты? Каждый хищник, каждый кровопийца станет на нее смотреть как на свою добычу, которую никто не осмелится и не захочет у него отнять! О, если бы вы не так были упрямы и согласились возвратиться к вашим прежним богам, тогда еще все бы можно поправить!

Амвросия это заключение чрезвычайно поразило, и, когда он нечаянно поднял голову, ему снова показалось, что над ним раскинута тонкая сеть

из огненных ниток. Однако он не мог не сознаться, что доводы Амены справедливы, и спросил ее, что ему остается делать.

— Во-первых, — отвечала Амена, — ты должен сколь можно менее показываться: связь твоя с Виктором так известна, что рано или поздно она тебя погубит, если ты не будешь осторожен. Во-вторых, никто не может спасти твоего друга, кроме его сестры. Пусть она завтра же пойдет во дворец кесаря, бросится перед ним на колени и молит его о помиловании ее брата. Максимиан изверг, но ему случается показывать проблески великодушия; я уверена, что молодость и красота твоей невесты тронут его каменное сердце...

Тут ужасная мысль поразила Амвросия.

— Как! — вскричал он. — Но если эта самая молодость и красота...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — прервала его Амена. — Ты боишься, чтобы грубая чувственность тирана не побудила его к какому-нибудь насилию; но будь спокоен. Максимиан теперь занят одною мною, а неудача вчерашнего предприятия так раздражила его любовь, что никакая другая мысль не войдет в его голову. Впрочем, если бы даже это и было возможно, то такой случай одно предположение; а когда ты своею опрометчивостью лишишь Леонию брата и жениха, тогда в каждом воине кесаревой стражи она найдет Максимиана!

Амвросий согласился с справедливостию этих слов; но, несмотря на просьбы Амены, непременно

хотел продолжать путь свой и посетить Виктора в его темнице. Лишь только он приблизился к выходу из подземелья, как услышал снаружи разговор двух преториянцев.

— Я уверен, — говорил один из них, — что человек, скрывшийся около этого храма, сообщник того негодяя, который вчера помешал нам похитить Амену и которого завтра утром прибьют ко кресту!

— В том нет никакого сомнения, — отвечал другой, — и я позволю назвать себя бабой, если отойду отсюда, не дождавшись этого бездельника!

Услышав, что друга его казнят на другое утро, Амвросий очень испугался. Ему хотелось прорваться сквозь толпу преториянцев и силой освободить Виктора; но, после краткого размышления, он увидел, что мысль его безрассудна и что он погибнет без всякой пользы для своего друга. Он решился возвратиться к Амене и рассказать ей подслушанный разговор.

— Ты видишь, — сказала Амена, — что совет мой всего вернее. Так как опасность, угрожающая Виктору, гораздо ближе, чем я полагала, то и ты должен поспешить его спасением. Вот пергамент, напиши сейчас к Леонии, чтобы она чем свет шла ко дворцу и ожидала появления кесаря. Скажи ей, что ты ручаешься за успех. Ты можешь ее смело в этом уверить, ибо могла ли бы я, обязанная твоему мужеству более чем жизни, дать тебе дурной совет? Одна из моих прислужниц выберет удобную минуту и выйдет с твоим посланием из подземелья. Преториянцы

ее не увидят, а если бы и заметили, то пропустят без затруднения.

Амвросий хотел сделать еще какое-то возражение, но почувствовал, что сон его одолевает. Он взял пергамент, написал, что проговорила Амена, и, склонив голову на стол, крепко заснул. Этот раз он ничего не видал во сне, но его пробудил горячий поцелуй Амены.

— Встань, — говорила она ему, — теперь уже утро, преториянцы ушли, ты можешь безопасно пойти до дома.

Амвросий чувствовал большую усталость, но он вскочил с триклиния, куда, вероятно, его перенесли во время сна, и вышел из жилища Амены. Солнце было уже высоко, и он поспешил в дом Леонии, чтобы узнать об успехе ее поступка. На дворе встретили его слуги; они плакали и рвали на себе одежду. Двое из них рассказали ему, что Леония, получив его письмо, очень была им поражена, но тотчас велела им следовать за собою и пошла ко дворцу Максимиана. Она бросилась перед ним на колени и стала умолять его о прощении брата. «Клянусь Юпитером, — сказал кесарь, — я ничего не знаю о ее брате! Что он за человек?» «Он? — отвечал один центурион. — Он христианин, которого за разные дерзкие поступки и, между прочим, за сопротивление твоим приказаниям я велел посадить в тюрьму». «Ты хорошо сделал, — отвечал кесарь, — и можешь поступить с этим христианином как заблагорассудишь; но сестра его мне нравится, и я хочу составить

ее счастье». Тут, по знаку Максимиана, подвели к нему Леонию. «Хочешь ли меня полюбить?» — спросил он ее. «У меня есть жених и брат, — отвечала Леония с кротостию, — и, после Бога, я люблю их одних!» Услыша такой ответ, продолжали слуги, мы побледнели; ибо глаза кесаря налились кровью и белая пена показалась на его устах, однако ж он удержался и продолжал довольно ласково: «Полюби меня, и я осыплю тебя золотом и прощу твоего брата». «Жизнь его в твоих руках, — отвечала Леония, — но если ты его погубишь, то на это будет воля Божия; любить же тебя я не могу!» «Послушай, — продолжал кесарь, — если ты будешь упрямы, то я обойдусь и без твоего согласия, а брата твоего и жениха заставлю умереть пред твоими глазами в ужаснейших мучениях!» Здесь твердость Леонии ее покинула. Она упала к ногам Максимиана и, заливаясь слезами, обняла его колени. «Сжался надо мной, — вопияла она, — могу ли я любить тебя, пролившего безвинно столько христианской крови! Будь великодушен, отпусти меня и прости моего брата!» Кесарь долго молчал и смотрел на Леонию ужасными глазами. «Есть одно средство, — сказал он наконец. — Если ты и брат твой откажетесь от вашей веры и согласитесь поклоняться богам, то я вас обоих отпущу, не сделав вам ни малейшего вреда; если же нет, то брат твой погибнет. Твои единоверцы доселе так были упрямы, что все приносили в жертву своему Богу. Мне любопытно знать, до какой степени доходит это упорство!» Леония опять

бросилась на колени, но кесарь подал знак, и ее отвели в темницу.

Услыша этот рассказ, Амвросий впал в отчаяние.

— О Амена! — кричал он в исступлении. — Ты виновница этого несчастья! Твои хитрости и лукавые советы причиною, что я погубил друга и невесту! Но если я не в силах их спасти, то, по крайней мере, умру вместе с ними!

Он побежал к префекту, рассказал все, что с ним случилось в последние два дня, и просил, чтоб его подвергли казни, но освободили бы Виктора и Леонию. Что предсказывала Амена, случилось. Префект велел отвести его, скованного, в глубокую темницу и засмеялся ему в глаза, когда он упомянул об освобождении друга и невесты.

Амвросий провел ночь в мучительном беспокойстве. На другой день пришел тюремный страж и предложил ему свободу от имени префекта, с тем чтобы он отказался от христианства. Амвросий с негодованием отвергнул это предложение. Прошел день, тюремщик явился с прежним вопросом. Ответ Амвросия был тот же. Таким образом, он недели две провел в темнице, получая пищи ровно сколько было нужно, чтоб не умереть с голоду, и не видя никого, кроме тюремного стража, приходившего каждое утро с тем же предложением и уходившего в глубоком молчании. Была уже ночь, как Амвросий, лежа на мокрой земле, слышал под собою глухие шаги. Вскоре яркий луч осветил темницу, и он увидел Амену, с лампою в одной руке и с амфорой в другой.

— Можно ли быть столько неосторожным! — сказала она ему, и слезы блистали в ее глазах. — О, если бы ты меня послушался!

— Горе мне, — отвечал Амвросий, — что я тебя послушался! Если бы не ты, Леония не была бы теперь в руках Максимиана. Но удались отсюда и не обольщай меня более!

— О, как ты мало меня знаешь! — сказала Амена. — Я ли виновата, что невеста твоя так гордо отвечала кесарю? Он вспыльчив и когда войдет в ярость, то бешенству его нет пределов. Но я уверена, что он бы смягчился, если б Леония отказала ему с большею кротостью. Впрочем, надежда еще не потеряна, и если ты последуешь моему совету, то можешь завтра же выйти из тюрьмы и спасти твоих друзей.

— Что ж мне делать? — спросил Амвросий.

— Выпей немного вина, — отвечала Амена, — и я тебе сейчас скажу.

Амвросий приблизил амфору к губам, и, по мере того как он втягивал в себя душистую влагу, странное чувство разливалось по его жилам.

Цепи перестали его тяготить; ему казалось, что темница наполняется золотистыми облаками и что перед ним мелькают нимфы, сатиры, центавры и наяды. Все блестящие картины языческой мифологии постепенно развивались в его воображении, и сердце его трепетало от сладострастной неги.

— Я бы могла, — продолжала Амена, — тебя освободить теперь же. Цепи твои распилить мне

нетрудно, а подземный ход, чрез который я вошла, имеет сообщение с моим жилищем; но это бы значило совершить только половину дела, и товарищи твои остались бы в темнице. Чтобы действовать благоразумно, ты должен непременно, хотя на несколько дней, притвориться, будто переходишь в нашу веру. Когда об этом узнает кесарь, он захочет тебя наградить и, по своему обыкновению, велит спросить, чего ты желаешь. Ты потребуешь прощения Виктора и Леонии, и, когда они будут освобождены, вы убежите из Италии и в отдаленной Испании дождетесь кончины Максимиана.

Амвросию казалось, что отречься от своего Бога, хотя только для виду, смертельный грех; к тому ж он не был уверен, что Максимиан будет так великодушен, как предполагала Амена; но он подумал о мучениях, ожидающих его друзей, и решился принять на себя ответственность поступка, не одобряемого его совестью. Когда настало утро и тюремщик вошел к нему с обыкновенным вопросом, Амвросий отвечал, по наставлению Амены, что во сне ему предстал Меркурий и убедил его перейти к поклонению богов олимпийских. Тюремщик удалился, и вскоре несколько человек кесаревой стражи вошли в темницу, сняли с него цепи и повели к префекту.

— Кесарь знает о твоём похвальном намерении, — сказал ему префект, — и приказал мне вручить тебе этот знак его благоволения. — Он подал Амвросию богатый перстень с редкою жемчужиной. — Однако, — продолжал он, — чтобы доказать,

что обращение твое чистосердечно, ты должен сегодня же совершить всенародное жертвоприношение во храме Юпитера. Теперь ступай домой и приготовься.

Пришед к себе, Амвросий увидел в комнатах множество золотой посуды. Мешки с золотом лежали на полу, а на дворе стояли колесницы с прекрасными конями в богатых сбруях.

— Что это значит? — спросил Амвросий.

— Это прислал тебе кесарь! — отвечали слуги, не радуясь его приходу и поглядывая на него исподлобья. Сердце Амвросия болезненно сжалось. В полдень он всенародно принес жертву Юпитеру и отважился просить помилования Виктору и Леонии. Ему отказали и дали золота; он в отчаянии побежал к Амене.

— Еще не все потеряно, мой друг! — сказала она. — Напиши к своим друзьям, чтобы они, подобно тебе, на время притворились. Прислужница моя найдет средство доставить им твое письмо и к утру принесет ответ. Не пренебрегай также подарками кесаря; они тебе пригодятся для спасения друзей, если нам не останется другого средства, а отказом ты только раздражишь Максимиана.

Амвросий послушался Амены и старался утопить в вине угрызения совести.

— Не будь так печален! — сказала ему Амена. — Если ложное зазрение не удержит твоего друга и невесты, то их простят так же, как простили тебя, а с твоим золотом вы можете бежать на край света.

Впрочем, я уверена, что они поймут всю цену твоего самоотвержения и не откажутся последовать твоему совету!

Она взяла в руки лиру, и тихие ее звуки погрузили его неприметно в сладостный сон. Ему представилось, что он древний герой, презиравший все труды и опасности и жертвующий собою для спасения других. В воображении своем он уже могучею рукою и хитрым умом одолевал все препятствия и преграды. Виктор и Леония были освобождены и со слезами благодарности обнимали его колени.

— Если бы ты не был христианин, — шептала ему Амена, — ты бы вступил в число полубогов!

Он предавался упоению гордости, но его разбудил поцелуй Амены. Она подала ему ответ Виктора и Леонии.

«Неверный брат! — писали они. — Слухи о твоём отступничестве до нас дошли, но мы не хотели им верить. Нас нарочно вывели из темницы, дабы мы собственными глазами увидели, как ты преклоняешь голову перед идолом и приносишь ему нечестивую жертву; мы сочли это адским наваждением. Но ты сам к нам пишешь, ты хочешь, чтобы мы следовали твоему примеру; да оградит нас сила Господня! Напрасно ты нас уверяешь, что поклонялся ложным богам только для вида и чтобы в награду за свою измену получить наше освобождение. Ты бы не должен принять тогда золота от Максимиана, а мы не хотим быть спасены этою ценою! Покайся, пока еще время, искупи кровию свое заблуждение, или

я, Виктор, отрекаюсь от твоей дружбы, а я, Леония, перестая быть твоей невестой. Ты уже и так изменил своему слову: мы знаем, что ты проводишь время с презренной женщиной, совращающей тебя с пути веры и обязанностей!»

Когда Амвросий кончил чтение, Амена закрыла лицо руками и горько заплакала.

— О я несчастная! — сказала она. — Вот как они толкуют мою благодарность и преданность к тебе! Теперь ты меня возненавидишь, и я умру с тоски.

— Амена, — отвечал Амвросий, чувствуя сильную досаду на Виктора и Леонию, хотя он сам себе не признавался, что причиною этой досады было лишь оскорбленное самолюбие, — Амена, я знаю, что дружба твоя чистосердечна и что ревность к вере сделала друзей моих несправедливыми.

— Нет, мой друг, — сказала Амена, горько рыдая, — они говорят правду, я одна виною твоего несчастья, я виною, что они тебя отринули; но все это я сделала, желая спасти их, ибо не только для тебя, но и для всех, которые дороги твоему сердцу, я готова пролить до последней капли крови. Амвросий! — вскричала она, упав перед ним на колени. — Прости меня, я страстно люблю тебя! Да, я люблю тебя, — продолжала она, не давая ему времени отвечать, — я умру, если ты меня покинешь; но покинь, забудь меня, я сама тебя о том умоляю, у тебя есть невеста, мы сыщем другое средство спасти ее, мы подкупим стражей, вы убежите из Италии и будете счастливы; вот все, что я желаю; у меня же

останется воспоминание счастливых дней, проведенных с тобою, и сознание, что я содействовала вашему счастью!

Столько любви, столько самоотвержения в сравнении с строгими словами Виктора и Леонии, отвергавших его любовь и дружбу в то самое время, когда он ожидал их благодарности, поколебали разум Амвросия. Признательность и удовлетворенное самолюбие, с одной стороны, досада и гордость — с другой, сострадание к Амене, ее обворожительная красота — все это затмило в его душе образ невесты и друга. Он без сопротивления предался ласкам Амены и вспомнил о Леонии только на другой день; в нем пробудились угрызения совести; но, по странному противоречию сердца человеческого, он вместо раскаяния чувствовал негодование к Леонии за то, что мысль об ней вырывала его из сладостного забвения и напоминала ему вину его. Амена всячески старалась развлекать его и так в том успела, что он в продолжение нескольких дней не выходил из ее подземелья и наконец перестал вовсе думать о Леонии и Викторе. Однажды Амена предложила ему прогуляться по Риму.

— Мы можем показаться без всякой опасности, — сказала она. — Тебя, который теперь в милости у кесаря, никто не тронет, а обо мне он уже давно забыл. Прихоти Максимиана так же скоро проходят, как и рождаются.

Амвросий согласился, и они пошли на Форум. Все им давали место, все на них глядели с почтением.

Около полудня Амена почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Дом Амвросия был близок, и они вошли под его портик и расположились у фонтана.

— Ах, — сказала Амена, — как бы обрадовались мои родные, если б они могли меня видеть! Не позволишь ли ты послать за ними? — Амвросий хотел отвечать, но в эту минуту прекрасный юноша в легкой одежде, с посохом в руке, подошел к Амене и что-то ей шепнул на ухо.

— Родные мои, — сказала Амена, — предупредили мое желание. Вот Гермес, служитель моего отца, пришел тебя просить, чтобы ты им позволил прийти.

Амвросий согласился и, позвав слугу, приказал ему приготовить богатое угощение. Когда солнце зашло, гости стали собираться. Один из них был высокий мужчина с кудрявой черной бородой и с длинными волосами, похожими на львиную гриву. Важное его лицо показалось Амвросию знакомым, и он вспомнил, что уже видел его во сне. Другие обоего пола гости были все прекрасны собою, кроме одного, запачканного сажей и сильно хромавшего. Когда они улеглись вокруг стола, то, кроме Амвросия и Амены, было всех-навсего одиннадцать человек. Вскоре между ними завязался разговор. Они говорили очень увлекательно, особенно мужчина с кудрявой бородой. Пока Амвросий его слушал, в нем разверзались совершенно новые понятия, и он стал смотреть на жизнь, на веру и на добродетель совсем другими глазами. Собеседники его

все более или менее придерживались философии Эпикура, и спор состоял только в том, что должно почитать высшим удовольствием в мире. Один превозносил любовь, другой вино, а третий славу. Амвросий несколько раз пытался им противоречить, но они легко опровергали его убеждения и так умно шутили над любовью Платона, учением Сократа и воздержанием Сципиона, что самому Амвросию мнения его показались смешными. Чтобы веселее провести время, кто-то предложил послать за плясунами и танцовщицами. Они вскоре явились, и искусство их так понравилось Амвросию, что он начал бросать им мешки золота, один за другим; потом стали играть в кости, и Амвросий проиграл большую часть богатства, недавно ему доставшегося. С первым криком петуха гости удалились, и с Амвросием осталась одна Амена. Он только что хотел отдохнуть от проведенной в шумных удовольствиях ночи, как услышал сильный стук у дверей.

— Отвори нам, проклятый обманщик, — кричали грубые голоса. — Ты притворился, будто поклоняешься Юпитеру, а между тем носишь на себе крест и еще обратил знаменитую римлянку в свою нечестивую веру! Но вы от нас не уйдете и завтра же будете сожжены живые!

И, говоря это, множество людей стучали в двери так, что она трещала.

— Сбрось с себя крест! — шепнула ему побледневшая Амена. — Иначе мы оба пропали: я узнаю голоса преториянцев!

Между тем удары сыпались градом на дверь, и одна веревка уже отскочила.

— Сбрось крест, сбрось крест! — умоляла Амена, упав перед ним на колени...»

Здесь незнакомец замолчал.

— Что ж сделал Амвросий? — спросил я.

— Он сбросил с себя крест! — отвечал незнакомец с тяжелым вздохом.

— Что ж было после? — спросил я опять, видя, что брат милосердия хранит глубокое молчание. — Ты, честный отец, так принимаешь рассказ свой к сердцу, как будто бы сам знал Амвросия.

— Не мешай мне, — отвечал брат милосердия, — и слушай, что мне остается тебе сказать.

«Вломившись в дом, преториянцы обыскали Амвросия и Амену, обшарили все комнаты, углы и застенки и, не найдя креста, удалились, не сделав никому вреда. Настало утро, и Амвросий забыл об этом происшествии.

Прежде хотя редко, но случалось, что он, среди наслаждений и шума, вдруг вспоминал о друзьях и как будто с испугом просыпался от продолжительного сна. Амена обыкновенно его уверяла, что друзей его скоро выпустят из темницы, что невинность их открыта и что кесарь намерен богато вознаградить их.

Тогда угрызения его совести умолкали, и он вновь утопал в удовольствиях. Теперь же, после потери креста, никакое воспоминание его более

не тревожило, и он постоянно оставался в каком-то чаду, в приятном опьянении, мешающем ему замечать, как проходило время. Дни он проводил в театрах, ночи в шумных оргиях с родными Амены. Между тем время текло; золото уменьшалось, и однажды он с ужасом заметил, что от прежнего богатства у него не осталось ничего. Кони, колесницы и дорогая посуда давно уже были проиграны.

— Не печалься, — говорила ему Амена, — на что тебе деньги, разве мы и без них не довольны счастливы? В моем жилище найдешь ты все, что нужно для тихой и беззаботной жизни, а любовь моя заменит нам потерянную роскошь! — И Амвросий опять погружался в удовольствия и не помышлял о будущем.

Однажды он услышал, что два преступника осуждены на съедение зверям в этом самом Колизее, где мы теперь находимся. Ужасное предчувствие в первый раз им овладело, и он вмешался в толпу народа, бежавшую с криками радости по дороге к амфитеатру. Амена за ним последовала. Когда они поместились на ступенях, он обратился к своему соседу и спросил его, знает ли он имена преступников.

— Их зовут Виктор и Леония, — отвечал сосед, — они оба христиане и умирают за упорство в своей вере.

Тут один человек продрался сквозь толпу и, приближаясь к Амвросию, сказал ему на ухо:

— Через четверть часа друзья твои должны быть растерзаны зверями. Я тюремный страж; дай мне тысячу сестерций, и я им помогу убежать!

— Амена, — вскричал Амвросий, — ты слышишь, что говорит этот человек?

— Слышу, — отвечала Амена, — но какое тебе до них дело? Они христиане, а ты поклонник богов олимпийских!

— Как, Амена, — продолжал Амвросий в отчаянье, — разве я не христианин?

— Ты? — отвечала Амена. — Разве ты не приносил жертвы Юпитеру? Разве ты не сбросил с себя креста?

— Дай мне пятьсот сестерций, — продолжал тюремный страж, — и я освобожу твоих друзей!

— Ты слышишь, Амена, — умолял ее Амвросий, — достань мне пятьсот сестерций, только пятьсот!

— У тебя были горы золота, — отвечала Амена, — куда ты его дел?

— Слушай, — продолжал тюремщик, — дай мне один асс, и друзья твои свободны!

— О я несчастный! — вопиял Амвросий. — У меня нет и обола!

— Так ты, видно, не хочешь спасти друга и невесты! — сказал тюремщик и скрылся в толпе.

— Амена! — вскричал тогда Амвросий, и холодный пот градом побежал с его лица. — Ты одна всему виною: по твоим советам я сделался богоотступником, для тебя забыл невесту и друга; спаси же их теперь, на коленях умоляю тебя, спаси их!

— Как, — сказала Амена, странно улыбаясь, — ты все это сделал для меня и по моим советам? Разве ты, прежде чем меня увидел, не поклялся своему

Богу, что никакие мучения не заставят тебя от него отречься? Какие же ты испытал мучения? Ты от Него отрекся добровольно, ты принял в награду золото и подарки от Максимиана и истратил их на свои прихоти! Разве не я сама тебя просила, чтобы ты меня покинул и остался верен своей невесте? Но невеста и друг приняли твои советы не с такою благодарностью, как ты ожидал, они тебя справедливо упрекали в клятвопреступлении, и ты на них вознегодовал и предал их Максимиану. Во всем этом я не виновата нисколько; я наслаждалась твоею любовью, но ее не вынуждала. У тебя был свой рас судок и своя совесть, пеняй же теперь сам на себя!

В эту минуту ввели в арену Виктора и Леонию. Лица их были спокойны, поступь тиха и величественна. Пришед на середину арены, они преклонили колена и устремили к небу глаза, исполненные умиления и восторга.

— Виктор! Леония! — закричал отчаянным голосом Амвросий; но они его не слышали. Ничто земное уже не могло коснуться праведников: казалось, они в предсмертный час внимали небесной гармонии и пению серафимов.

— Римляне! — закричал Амвросий. — Бросьте меня в арену, я вас обманывал: я христианин и хочу умереть за свою веру!

— Он сумасшедший, — сказала Амена, — не слушайте его, он сумасшедший!

Тут Амвросий встал со ступеней, выступил вперед и сотворил крестное знамение.

— Кто бы ни была ты, ужасная женщина, — сказал он, обращаясь к Амене, — я отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от твоих богов, отрекаюсь от ада и сатаны! — Услыша эти слова, Амена испустила пронзительный визг, черты ее лица чудовищным образом исказились, изо рта побежало синее пламя; она бросилась на Амвросия и укусила его в щеку. В эту минуту из-за железной решетки впустили в арену четырех львов. Амвросий упал без чувств на ступени амфитеатра».

Незнакомец опять замолчал, и я долго не смел прервать его молчания.

— Кто ты, таинственный человек? — спросил я наконец, видя, что он хочет удалиться.

Вместо ответа брат милосердия отбросил покрывало: страшно бледное лицо устремило на меня выразительный взгляд, и на его щеке я увидел глубокий шрам, как будто из нее мясо было вырвано острыми зубами. Он опять закрыл лицо и, не сказав ни слова, медленными шагами вышел из арены и исчез между развалинами.



ВСТРЕЧА  
ЧЕРЕЗ  
ТРИСТА ЛЕТ



Мы сидели чудесной летней ночью у нашей бабушки в саду, одни — собравшись вокруг стола, на котором горела лампа, другие же — расположившись на ступенях террасы. Время от времени легкое дуновение ветерка доносило до нас волну воздуха, напоенного благоуханием цветов, или дальний отголосок деревенской песни, а потом все опять затихало, и слышно было только, как о матовый колпак лампы бьются крыльями ночные мотыльки.

— Ну что ж, дети мои, — проговорила бабушка, — вы не раз просили меня рассказать какую-нибудь старую историю о привидениях... Если есть охота, садитесь в кружок, а я вам расскажу один случай из времен моей молодости, от которого вас всех бросит в дрожь, едва только вы останетесь одни и ляжете в постели.

Недаром эта ночь, такая тихая, напоминает мне доброе старое время, а ведь вот — можете, если угодно, смеяться надо мной — мне уже много лет кажется, что и природа стала не так хороша, как была когда-то.

Нет больше тех чудесных, теплых и светлых дней, таких свежих цветов, таких сочных плодов; да, кстати, по поводу плодов, — не забыть мне никогда корзинку персиков, что прислал мне однажды маркиз д'Юрфе, молодой безумец, ухаживавший за мной потому, что на лице у меня он нашел какую-то необыкновенную черточку, от которой и потерял голову.

По правде сказать, я недурна была в то время, и тот, кто сейчас видит мои морщины и седые волосы, не подозревает, что король Людовик Пятнадцатый прозвал меня розой Арденн, — имя, которое я вполне заслуживала, ибо вонзила немало шипов в сердце его величества.

А что до маркиза д'Юрфе, то могу вас уверить, дети мои, что, если бы он только захотел, я не имела бы удовольствия быть вашей бабушкой или, во всяком случае, вы носили бы другую фамилию. Но мужчинам совершенно недоступен смысл нашего кокетства: они либо приходят в неистовство, которым возмущают нас, либо, как дети, впадают в отчаянье и со всех ног бросаются в бегство ко двору какого-нибудь господаря Молдавии, как оно и было с этим сумасшедшим маркизом, с которым я потом встречалась много лет спустя, и он, замечу мимоходом, не сделался более благоразумным.

Возвращаясь к корзинке персиков, подаренной маркизом, скажу вам, что получила ее незадолго до его отъезда, в день святой Урсулы, то есть в мои именины, а они, как вам известно, приходятся на самую середину октября, когда раздобыть персиков почти невозможно.

Этот знак внимания явился следствием того, что д'Юрфе держал пари с вашим дедом, который уже начинал ухаживать за мною и так был смущен удачей своего соперника, что на целых три дня занемог.

У этого д'Юрфе была благороднейшая внешность, какую мне вообще приходилось видеть, за исключением одного лишь короля, который, не будучи уже молодым, по праву считался самым красивым дворянином Франции. Ко всем внешним достоинствам у маркиза присоединялось еще одно преимущество, которое — могу признаться в этом теперь — имело для нас, молодых женщин, не менее притягательную силу. Он был величайший в мире шалопай, и я часто задавала себе вопрос, почему такие люди помимо нашей воли привлекают нас к себе. Единственное, по-моему, объяснение состоит в том, что, чем непостояннее у человека нрав, тем нам приятнее бывает привязать его к себе. И вот с обеих сторон задето самолюбие — кто кого перехитрит. Высшее искусство в этой игре заключается, дети мои, в том, чтобы уметь вовремя остановиться и не доводить своего партнера до крайности. Это я говорю, Элен, главным образом, для вас. Если вы кого-нибудь любите, дитя мое, не поступайте с ним так, как я поступила с д'Юрфе: знает бог, как я оплакивала его отъезд и как укоряла себя за свое поведение. От этого признания не должна страдать память вашего деда, женившегося на мне полгода спустя, а это, без сомнения, был достойнейший и благороднейший человек, какого только можно встретить.

В то время я вдовела после смерти моего первого мужа, господина де Грамона, которого почти и не успела узнать, а вышла я за него, только чтобы не ослушаться моего отца, единственного из людей, кого я боялась на земле. Вы легко можете догадаться, что дни моего вдовства не показались мне долгими; я была молода, хороша собой и могла делать решительно все что хотела. Я и воспользовалась своей свободой, а как только кончился траур, очертя голову устремилась в водоворот балов и собраний, которые, замечу мимоходом, были куда веселее тогда, чем нынче.

На одном из таких собраний маркиз д'Юрфе и был мне представлен командором де Бельевром, старинным другом моего отца, никогда не покидавшего свой замок в Арденнах и поручившего меня его чисто родственным заботам. Всяким увещаниям со стороны почтенного командора просто не было конца, но, будучи с ним как можно обходительнее и ласковее, я не очень-то поддавалась его уговорам, как вы вскоре сами увидите. Мне уже много приходилось слышать о господине д'Юрфе и не терпелось узнать, окажется ли он таким неотразимым, как мне его рисовали.

Когда он с очаровательной непринужденностью подходил ко мне, я посмотрела на него так пристально, что он смутился и даже не мог окончить только что начатую фразу.

— Сударыня, — сказал он мне потом, — у вас над глазами, чуть повыше бровей, есть чуть заметная складочка, которую я не сумел бы описать, но она придает вашему взгляду необыкновенное могущество...

— Сударь, — ответила я ему, — говорят, я очень похожа на портрет моей прапрабабушки, а от одного ее взгляда, как гласит предание в наших краях, упал в ров некий самонадеянный рыцарь, затеявший ее похитить и уже перемахнувший через стену замка.

— Сударыня, — сказал с учтивым поклоном маркиз, — если у вас те же черты лица, что и у вашей прапрабабушки, то я охотно поверю преданию; позволю себе лишь заметить, что на месте рыцаря я не считал бы себя побежденным и, как только выбрался бы из рва, так сразу бы снова взобрался на стену.

— Неужто, сударь?

— Без сомнения, сударыня.

— Неудача не повергнет вас в отчаянье?

— Смутиться иной раз я могу, но отчаяться в успехе — никогда!

— Что ж, посмотрим, сударь!

— Что ж, сударыня, посмотрим!

С этого часа между нами началась ожесточенная война: с моей стороны то было притворное безразличие, со стороны маркиза — все усиливающаяся нежная внимательность. Кончилось тем, что эта игра привлекла к нам всеобщее внимание, и командор де Бельевр сделал мне серьезный выговор.

Своеобразная была личность этот командор де Бельевр, и пора сказать о нем несколько слов. Вообразите себе человека высокого, сухощавого и важного, весьма учтвого, весьма речистого и никогда не улыбающегося. В молодости он показал на войне чудеса

храбрости, граничащей с безумством, но он никогда не знал, что такое любовь, и с женщинами был крайне робок. Когда мне случалось особенно приласкаться к нему (а это бывало всякий почтовый день, поскольку он добросовестно посылал отцу отчеты о моем поведении, как если бы я была еще маленькая девочка), у него едва разглаживались морщины на лбу, но он строил при этом такую забавную гримасу, что я тут же смеялась прямо ему в лицо, рискуя с ним поссориться. Мы оставались, однако, наилучшими друзьями, если не считать того, что сразу же вцеплялись друг в друга, как только речь заходила о маркизе.

— Герцогиня, я в отчаянии, ибо долг требует от меня, чтобы я сделал вам замечание...

— Да сделайте одолжение, милый командор.

— Вчера вечером у вас опять был маркиз д'Юрфе.

— Справедливо, милый командор, да и третьего дня тоже, и нынче вечером он тоже будет у меня, равно как завтра и послезавтра.

— Вот по поводу этих частых посещений я и хотел бы с вами поговорить. Вам неизвестно, сударыня, что отец ваш, а мой уважаемый друг, поручил вас моему попечению и что я за вас отвечаю перед богом, как если бы я имел счастье видеть в вас мою дочь...

— Да неужели вы, мой милый командор, опасаетесь, что маркиз выкрадет меня?

— Я полагаю, сударыня, что маркиз относится к вам с надлежащим уважением, которое удержит его от подобного намерения. И все же мой долг — предупредить

вас, что внимание, проявляемое к вам маркизом, становится при дворе предметом разговоров, что я и себя упрекаю за это тем более, что именно я имел несчастье представить вам маркиза, и если вы немедленно не отдадите его от себя, то, к великому моему сожалению, я вынужден буду, как и подобает, вызвать его на дуэль!

— Но вы же шутите, милый мой командор, да и подобает ли вам такая дуэль! Вы забыли, что вы втрое старше его.

— Я никогда не шучу, сударыня, и все будет так, как я имел честь сказать.

— Да это же, сударь, просто оскорбительно! Это тиранство, которому нет имени! Если мне нравится быть в обществе господина д'Юрфе, кто имеет право запретить мне встречаться с ним? Кто может запретить ему жениться на мне, если я дам согласие?

— Сударыня, — отвечал, грустно покачивая головой, командор, — поверьте мне, не это входит в намерения маркиза. Я достаточно знаю жизнь и вижу, что господин д'Юрфе, отнюдь не собираясь связывать себя, лишь гордится и хвастается своим непостоянством. И что бы случилось с вами, бедный цветок Арденн, если бы вы дали ему насладиться медом, заключенным между ваших лепестков, а этот красивый мотылек вдруг предательски упорхнул бы от вас?

— Ну вот, теперь пошли оскорбительные обвинения! Знаете ли, милый мой командор, что если вы будете продолжать в этом духе, то заставите меня до безумия влюбиться в маркиза?

— Я знаю, сударыня, что отец ваш, а мой досточтимый друг, поручил вас моим попечениям и что я готов даже досаждать вам, лишь бы только оказаться достойным его доверия и вашего уважения.

Так всякий раз кончались эти споры. Я остерегалась сообщать о них д'Юрфе, чтобы не дать ему еще более возомнить о себе, но вот в один прекрасный день командор явился ко мне с известием, что получил от моего отца письмо, в котором тот просит его быть моим провожатым и ехать со мной в наши поместья в Арденнах. Командор передал и письмо, адресованное мне. Отец выражал в нем желание повидаться со мной, а чтобы меня не слишком пугала осень, которую предстояло провести в лесной глуши, он сообщал мне, что несколько семейств из нашего соседства решили устроить празднество в замке Обербуа в четырех лье от нас.

Речь шла ни более ни менее как о большом костюмированном бале, и отец советовал поторопиться с приездом, если я хочу принять в нем участие.

Имя Обербуа воскресило во мне множество воспоминаний. То были слышанные в детстве рассказы о старинном заброшенном замке и о лесе, окружавшем его. В народе жило одно предание, от которого меня всегда мороз подирал по коже: будто бы в том лесу путешественников иногда преследовал некий человек гигантского роста, пугающе бледный и худой, на четвереньках гонявшийся за экипажами и пытавшийся ухватиться за колеса, причем он испускал вопли и умолял дать ему поесть. Последнему обстоятельству он был обязан прозвищем

Голодный. Называли его также «священник из Обербуа». Не знаю почему, но образ этого изможденно-го существа, передвигающегося на четвереньках, превосходил в моем воображении все самое ужасное, что только можно было представить себе. Часто вечером, возвращаясь с прогулки, я невольно вскрикивала и судорожно сжимала руку моей няни: мне мерещилось в сумраке, будто по земле между деревьями ползет отвратительный священник.

Отец не раз бранил меня за эти фантазии, но я невольно поддавалась им. Вот и все, что относится к лесу. А что до замка, то его история в некотором смысле была связана с историей нашего рода. Во времена войн с англичанами он принадлежал господину Бертрану д'Обербуа, тому самому рыцарю, который, так и не добившись руки моей прапрабабушки, решил похитить ее силой и от одного ее взгляда сорвался с веревочной лестницы и свалился в ров. Господин Бертран получил только то, чего заслуживал, ибо это был, как рассказывают, рыцарь безбожный и вероломный, исполненный всяческой скверны, которая вошла в пословицу. Тем замечательней бесстрашие, выказанное моей прапрабабушкой, и вы можете себе представить, насколько мне льстило, что во мне видят сходство с портретом госпожи Матильды. Вы, впрочем, знаете этот портрет, дети мои, он висит в большой зале прямо над портретом сенешаля Бургундского, вашего внучатного прадеда, и рядом с портретом сеньора Гюга де Монморанси, породнившегося с нами в тысяча триста десятом году.

Глядя на лицо этой девушки, такое кроткое, можно бы усумниться в правдивости предания или отказать художнику в умении улавливать сходство. Как бы то ни было, если я когда-то и напоминала ее портрет, теперь бы вы с превеликим трудом нашли в нем что-нибудь общее со мной. Да не об этом и речь сейчас. Итак, я сказала, что господин Бертран поплатился за свою дерзость, выкупавшись во рву нашего замка. Не знаю, исцелил ли его от любви подобный афронт, но говорят, что он пытался утешиться с шайкой греховодников, таких же распутников и нечестивцев, как и он сам. И он предавался сластолюбию и чревоугодию в обществе некой госпожи Жанны де Рошэгу, которая, дабы угодить ему, умертвила своего супруга. Я вам, дети мои, пересказываю то, что сама слышала от няни, и пересказываю лишь затем, чтобы лучше дать понять, как меня всегда пугал этот гадкий замок Обербуа и какой диковинной мне показалась мысль устроить там костюмированный бал.

Письмо отца причинило мне ужасное расстройство. Хотя мои детские страхи тут были ни при чем, но мне очень не по вкусу пришелся отъезд из Парижа — тем более что командор де Бельевр, как я догадывалась, в немалой степени был причастен к тому приказанию, которое он же мне и принес. Самая мысль о том, что со мной обращаются как с девочкой, возмущала меня; я догадалась, что господин де Бельевр, навязывая мне путешествие в Арденны, хотел только одного — помешать моим частым

встречам с д'Юрфе. Я дала себе слово расстроить эти планы, и вот как я принялась за дело.

Когда ко мне явился маркиз, я повела с ним разговор в насмешливом тоне и дала ему понять, что, поскольку сама я покидаю Париж, а он моего благорасположения не завоевал, тем самым он может считать себя проигравшим игру.

— Сударыня, — отвечал мне д'Юрфе, — один из моих замков (так уж угодно случаю) расположен в одном лье от дороги, которой вам предстоит ехать. Смею ли я надеяться, что вы не откажете в утешении бедному побежденному и позволите оказать вам гостеприимство в пути?

— Сударь, — холодно возразила я, — как-никак это будет крюк, да к тому же на что вам вновь встречаться со мной?

— Умоляю вас, сударыня, не доводите меня до отчаяния — не то, клянусь вам, я решусь на какой-нибудь безумный шаг!

— Может быть, похитите меня?

— Я и на это способен, сударыня.

Я громко расхохоталась.

— Вы отрицаете такую возможность?

— Отрицаю, сударь, и предупреждаю вас, что для такой затеи нужна смелость необыкновенная — ведь я поеду с командором де Бельевром и под очень сильной охраной!

Маркиз улыбнулся и замолчал.

Мне, само собою разумеется, было небезызвестно, что у господина д'Юрфе есть имение в сторону

Арденн, и это обстоятельство я принимала в расчет. Однако, чтобы вы не составили себе слишком уж дурного мнения о вашей бабушке, прежде всего вам скажу, что мой вызов маркизу был не чем иным, как шуткой, и что я только хотела подразнить командора, давая маркизу случай увидаться со мной в дороге.

Если бы при всем том господин д'Юрфе отнесся всерьез к моим словам, в моей власти было бы рассеять его заблуждение, а по правде сказать, мысль о том, что меня будут пытаться похитить, не заключала в себе ничего особенно неприятного для молодой женщины, жаждущей сильных ощущений и кокетливой сверх всякой меры.

Когда настал день нашего отъезда, я не могла не изумиться, увидав, насколько меры предосторожности, принятые командором, превосходили все то, что в те времена полагалось для путешествий. Кроме повозки, в которой помещалась кухня, имелась еще и другая — для моей постели и принадлежностей туалета. Два лакея на запятках вооружены были саблями, а мой камердинер, сидевший рядом с кучером, держал в руках мушкетон, дабы наводить страх на грабителей. Чтобы достойным образом подготовить для ночлега те комнаты, где мне предстояло отдыхать, был заранее послан обойщик, а впереди нас ехали верхом двое слуг, которые днем кричали встречным, чтобы они сторонились, а с наступлением темноты освещали наш путь факелами.

Щепетильнейшая учтивость не покидала командора в путешествии, как не изменяла она ему

и в гостиных. Началось с того, что он задумал усесться напротив меня и без конца стал разводить церемонии — как это он расположится в карете рядом со мной на заднем сиденье?

— Да что это вы, командор, неужели вы меня боитесь, что хотите устроиться спереди?

— Вы не можете сомневаться, сударыня, в том, что мне приятно было бы сидеть подле дочери моего лучшего друга, но я бы нарушил мой долг, если бы доставил хоть самое маленькое неудобство той, которую в эту минуту призван охранять!

К своей задаче — охранять меня — он относился до того серьезно, что не проходило и пяти минут, чтобы он не спросил меня, хорошо ли мне сидеть и не дует ли на меня.

— Да оставьте вы меня, пожалуйста, в покое, командор, — вы просто невозможны!

Тогда он испускал глубокий вздох и строго окликал кучера, наказывая ему приложить все старания, чтобы избавить меня от тряски и толчков.

За день мы проезжали немного, и командор настаивал, чтобы я что-нибудь ела на каждой остановке. Помогая мне выйти из кареты, он всегда снимал шляпу, прежде чем подать мне руку, а ведя меня к столу, всякий раз рассыпался в извинениях, что кушанья здесь подаются совсем не такие, как в моем доме на улице Варенн.

Как-то раз, когда я имела неосторожность сказать, что люблю музыку, он велел принести себе гитару и исполнил воинственную песнь мальтийских

рыцарей с такими громовыми руладами и так выка-  
тывая глаза, что делалось просто страшно. По стру-  
нам он ударял до тех пор, пока не порвал их. Тут он  
стал рассыпаться в учтивостях и замолчал.

Так как моих слуг с нами было столько же, сколь-  
ко и слуг командора, то он всем приказал носить  
ливрею с моим гербом, чтобы не могло и показаться,  
будто я путешествую в его карете. Но вся эта  
внимательность не трогала меня, ибо в господине  
де Бельевре я видела не столько друга, сколько мен-  
тора и скучного педанта.

Заметив, что в карманах у него полно булавок,  
мотков шелка и прочих мелочей, которые могли бы  
потребоваться для моего туалета, я забавы ради  
спрашивала у него всякую всячину, будто бы пона-  
добившуюся мне, — лишь бы застать его врасплох.

Мне это долго не удавалось.

Как-то раз я вскрикнула:

— Ах, меня мутит!

Командор тотчас же опустил руку в один из кар-  
манов, извлек оттуда бонбоньерку с какими-то ле-  
пешками и молча подал мне ее.

Другой раз я притворилась, что у меня болит  
голова.

Командор искал в карманах и, достав флакон  
«Эликсира королевы», попросил разрешения по-  
прыскать мне на волосы.

Я чуть не упала духом.

Наконец мне пришлось на ум сказать, что я поте-  
ряла румяна, и нетерпеливо спросила господина

де Бельевра, подумал ли он захватить с собой несколько баночек.

Предусмотрительность командора так далеко не простиралась. Он густо покраснел и стал расссыпаться в извинениях.

У меня хватило злости притвориться, будто я плачу, и я сказала, что меня доверили человеку, ничуть не заботящемуся обо мне.

Я почувствовала себя наполовину отомщенной: командор счел себя опозоренным, горько загрустил и весь тот день молчал. Мне, однако, в конце концов, мало уже было и удовольствия мучить своего ментора. Не знаю, что бы я придумала еще, если бы случай иного рода не нарушил однообразие нашего путешествия.

Однажды вечером, когда мы ехали вдоль опушки леса, из-за поворота дороги внезапно появился всадник, окутанный плащом, наклонился к окну кареты и тотчас же скрылся. Все произошло так быстро, что я почти и не заметила, как всадник бросил мне на колени записочку. А командор и вовсе ничего не увидал. В записке было всего несколько строк: «В одном лье отсюда вам придется заночевать. Когда все уснут, под вашими окнами остановится карета. Если вы разбудите ваших людей, я лучше погибну у вас на глазах, чем откажусь от попытки, на которую вы меня считаете неспособным и успех которой только и придаст для меня цену жизни».

Узнав почерк маркиза, я глухо вскрикнула — командор обернулся в мою сторону.

— Что с вами, сударыня? — спросил он, крайне удивленный.

— Да ничего, — ответила я, пряча записку, — ногу вдруг свело судорогой.

Эта ложь, к которой я прибегла за тридцать лет до появления «Севильского цирюльника», доказывает вам, что она впервые пришла в голову мне, а не Бомарше, как вы могли бы подумать.

Командор тотчас же опустил руку в один из карманов, вынул магнит и подал его мне, чтобы я приложила его к больному месту.

Чем больше я размышляла о дерзости маркиза, тем больше я восхищалась его рыцарской смелостью. Я почувствовала благодарность к моде того времени, требовавшей, чтобы женщина знатная носила в путешествии черную полумаску, ибо иначе от командора не ускользнуло бы мое волнение. Я ни одного мгновения не сомневалась, что маркиз осуществит свое намерение, и не стану скрывать, что, зная фанатизм господина де Бельевра по части долга, я в то время гораздо больше опасалась за жизнь господина д'Юрфе, чем за свое доброе имя.

Вскоре оба лакея, ехавшие впереди верхом, вернулись и сообщили, что из-за повреждения моста мы не сможем отдыхать в селении, выбранном господином де Бельевром для ночлега, но что наш квартирмейстер уже приготовил ужин в охотничьем домике, расположенном у большой дороги и принадлежащем господину маркизу д'Юрфе.

Я увидела, как при этом имени командор нахмурил брови, и испугалась, как бы он не разгадал планы маркиза.

Этого, однако, не произошло, мы доехали до охотничьего домика, а у командора никаких подозрений, как видно, не возникало. После ужина, как это и бывало каждый вечер, он отвесил мне низкий поклон, испросил разрешения удалиться и пожелал спокойной ночи.

После его ухода я отослала горничных и не стала раздеваться, ожидая скорого появления господина д'Юрфе, с которым я, впрочем, намерена была обойтись так, как он того заслуживал, стараясь, однако, не навлечь на него гнев командора.

Едва прошел час, как я услышала на дворе легкий шум. Я отворила окно и увидела маркиза, поднимавшегося по веревочной лестнице.

— Сударь, — сказала я ему, — удаляйтесь немедленно, или я позову людей!

— Сжальтесь, сударыня, выслушайте меня!

— Я ничего не хочу слушать, и, если вы только попыбуете войти сюда, я позвоню, клянусь вам!

— Тогда велите меня убить — ведь я же поклялся, что похитить вас помешает мне только смерть!

Не знаю, что мне было делать или отвечать, как вдруг быстро отворилось окно соседней комнаты, и в нем показался командор со светильником в руке.

Господин де Бельевр переоделся в халат темно-красного цвета, а парик сменил на остроконечный ночной колпак; теперь в его облике было что-то

причудливо внушительное, он казался похож на волшебника.

— Маркиз! — вскричал он громовым голосом. — Благоволите удалиться отсюда!

— Господин командор, — ответил маркиз, все еще держась на лестнице, — я счастлив видеть вас в моем доме.

— Господин маркиз, — продолжал командор, — я в отчаянии от того, что должен вам объявить, но, если вы не спуститесь тотчас же, я буду иметь честь застрелить вас!

Тут он поставил светильник на подоконник и направил на маркиза дула двух огромных пистолетов.

— Да что вы, командор! — закричала я, высовываясь из окна. — Это же будет убийство!

— Герцогиня, — ответил господин де Бельевр, учтиво кланяясь из окна, — сделайте милость, извините меня, что я предстаю пред вами в столь неподходящем виде, но в этих чрезвычайных обстоятельствах я надеюсь на снисхождение, о котором не решился бы просить вас во всякое иное время: Благоволите также извинить меня, что на этот раз я не спешу повиноваться вам с тем слепым рвением, которое я всегда вменяю себе в закон, но ваш отец, а мой почитаемый друг, доверил вас моему попечению, и его доверие столь для меня лестно, что я готов заслужить его любой ценой, не отступая даже и перед убийством.

При этих словах командор снова поклонился и зарядил пистолеты.

— Пускай, — сказал маркиз, — это будет дуэль в новом роде!

И, не спускаясь с лестницы, он тоже вынул из кармана пару пистолетов.

— Командор, — проговорил он, — погасите светильник, ведь он делает мое положение более выгодным, чем ваше, а я не желал бы воспользоваться этим преимуществом.

— Господин маркиз, — отвечал командор, — благодарю вас за любезность и могу только порадоваться, что вижу в ваших руках пистолеты, ибо для меня было бы невыносимо стрелять в безоружного.

После этого он погасил свечу и стал целиться в маркиза.

— Да вы оба с ума сошли! — закричала я. — Вы же погубите меня — разбудите весь дом! Маркиз, — продолжала я, — прощаю ваше безрассудство с тем условием, что вы немедленно же спуститесь. Слышите, сударь, я приказываю вам спуститься!

Мой взгляд должен был дать ему понять, что всякое промедление только сильнее рассердит меня.

— Сударыня, — произнес тогда маркиз, намекая на слова, которыми мы обменялись при первом нашем знакомстве, — своим взглядом вы сбрасываете меня с лестницы, но владетельная красавица Матильда может быть уверена, что рыцарь Бертран станет всеми средствами искать встречи с ней хотя бы лишь затем, чтобы умереть у ее ног!

И, завернувшись в свой плащ, он исчез в темноте.

Командор на следующий день ни слова не проронил о случившемся, и не было у нас об этом больше речи и потом.

Когда же до замка моего отца оставалось всего только полдня пути, нас под вечер застигла ужасная гроза. Гром грохотал с неслыханной силой, а молнии следовали с такой стремительностью, что даже сквозь опущенные веки их сверкание ослепляло меня.

Вы, дети мои, знаете, что я никогда не выносила грозу. Мной овладел какой-то непонятный страх, я дрожала как лист и прижималась к командору, который считал себя обязанным принести мне извинения.

Мы двигались крайне тихо — мешали деревья, поваленные грозой на дорогу. Уже совсем стемнело, как вдруг кучер резко остановил лошадей и обратился к командору со словами:

— Виноват, сударь, я не туда заехал. Мы в лесу Обербуа, узнаю его по тому старому дубу с обрубленными ветвями!

Не успел он произнести эти слова, как удар грома потряс весь лес, молния упала у самой кареты, и напуганные лошади закусил удила.

— Матерь божия, смилуйся над нами! — воскликнул кучер, наматывая вожжи на руку. Но лошади ему уже не повиновались.

Мы неслись во весь опор, то справа, то слева о что-то ударяясь и каждый миг ожидая, что вот-вот разобьемся о деревья.

Я была ни жива ни мертва и ничего не понимала в речах господина де Бельевра, ибо к свисту ветра

и раскатам грома, как мне казалось, примешивались некие странные звуки. Я уже несколько раз слышала совсем близко душераздирающие стенания, а потом раздавался вопль: «Есть хочу, есть хочу!»

Внезапно кучер, все время сдерживавший лошадей, отпустил вожжи и с страшным криком начал их хлестать.

— Жермен, негодяй! — окликнул его командор. — С ума ты сошел?

Жермен обернулся, и при свете молнии мы увидели его смертельно-бледное лицо.

— Это священник! — произнес он сдавленным голосом. — Священник за нами гонится.

— Останови, дурак; твоя вина, если герцогиня голову сломает! Останови — или я тебя застрелю.

Не успел господин де Бельевр договорить, как мы почувствовали страшный толчок, меня выбросило из кареты, и я потеряла сознание.

Не знаю, сколько времени продолжался этот обморок, но очнувшись я от звуков музыки, игравшей неподалеку.

Я открыла глаза, и оказалось, что кругом — лес, а я лежу на мху.

Гроза кончилась. Гром еще погромыхивал в отдалении, а на деревьях тихонько шевелилась листва, и над их верхушками проплывали облака причудливой формы. Воздух напоен был благоуханиями, от которых я вновь погрузилась бы в сладостное оцепенение, как вдруг на лицо мне упало, стекая с листьев, несколько капель дождевой воды, сразу освеживших меня.

Я села и, осмотревшись, увидела примерно в ста шагах ярко освещенные сводчатые окна. Вскоре я различила за деревьями остроконечные башенки некоего замка, который, как я тут же установила, не был замком моего отца. «Где же это я нахожусь?» — подумала я. Понемногу я вспомнила, как понесли лошади и как меня выбросило из кареты. Но в голове у меня все еще была такая слабость, что эти обрывки воспоминаний вскоре же сливались с другими мыслями, и я, очутившись внезапно в таком одиночестве, даже не удивлялась, что не вижу подле себя ни господина де Бельевра, ни кого бы то ни было из моих слуг.

Музыка, заставившая меня очнуться, все продолжала звучать. Тогда меня осенило, что, может быть, я нахожусь около замка Обербуа и что гости собрались там на тот самый костюмированный бал, о котором упоминалось в письме отца. Тут же мне припомнились и последние слова господина д'Юрфе, сказанные им в охотничьем домике, и я подумала, что при том упорстве, с которым он всюду следует за мной, он непременно должен оказаться на этом балу.

Я поднялась и, не чувствуя ни малейшей боли, быстрыми шагами направилась к замку.

Это было обширное здание сурового облика и в значительной части разрушенное. В лучах луны я могла заметить, что стены поросли мохом и покрыты плющом, ветки которого гирляндами свисали кое-где с высоких башен, живописно раскачиваясь и темными очертаниями выделяясь на серебристо-синем фоне ночного неба.

Я остановилась, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

Мыслями я в тот миг, не знаю уж как и почему, унеслась далеко-далеко. Передо мною, словно в свете волшебного фонаря, проносились давно забытые картины детства. С необыкновенной яркостью возникли в моей памяти отдельные черты из времен ранней моей юности. И среди этих образов я вдруг увидела мою мать, которая грустно мне улыбалась. Мне захотелось плакать, и я несколько раз поцеловала крестик, ее подарок, с которым не расставалась никогда.

Вдруг мне послышался где-то вдали голос командора, который звал меня.

Я стала прислушиваться, но тут флюгер на крыше, поворачиваясь, заскрипел, и этот звук, подобный скрежету зубов, помешал мне уловить звавший меня голос.

Я решила, что мне это померещилось, и вошла во двор. Там не видать было ни карет, ни слуг, однако туда доносились откуда-то и громкий смех, и нестройный гул голосов. Я поднялась по лестнице весьма крутой, но ярко освещенной; когда я достигла верхней площадки, в лицо мне подул холодный ветер, а в воздухе, вспорхнув, заметалась испуганная сова, ударяясь крыльями о светильники, прикрепленные к стенам.

Чтобы ночная птица меня не задела, я нагнула голову. Когда же я снова выпрямилась, передо мной стоял высокий рыцарь в полном вооружении.

Он подал мне руку, одетую в броню, и из-под спущенного забрала до меня донесся глухой голос:

— Прекрасная госпожа моя, дозволейте верному вашему слуге принять вас в своем замке и почитайте оный за вашу собственность, как и все его добро.

Я вспомнила слова, брошенные господином д'Юрфе, когда я ему приказала спуститься с лестницы, и, будучи уверена, что незнакомый рыцарь — не кто иной, как любезный маркиз, я ответила ему в том же тоне:

— Не изумляйтесь, пресветлый государь мой, что узрели меня в сих местах, ибо, заблудившись в лесу, пришла я к вам, дабы приютили меня, как всякому доброму и храброму рыцарю поступать надлежит.

Затем я вошла в обширную залу, где много было народу, и все эти люди, собравшись за накрытым столом, смеялись и пели. Одеты они все были как знатные господа времен Карла Седьмого, а так как в церкви Сен-Жермен в Оксерре я видела живопись той поры, то и могла по достоинству оценить историческую точность, соблюденную в малейших деталях их одежды. Сильнее же всего мое внимание привлекла прическа одной высокой и красивой дамы, по-видимому, хозяйки на этом пиршестве. Волосы ее были покрыты сеткой, весьма искусно и безукоризненно изящно сплетенной из золотых нитей с жемчугом. Но меня, несмотря на красоту этой женщины, прежде всего поразило злое выражение ее лица.

Как только я вошла, она с любопытством, совершенно неприличным, принялась меня рассматривать и сказала так, чтобы я могла слышать:

— Коли не ошибаюсь, так это и есть прекрасная Матильда, а за ней волочился господин Бертран, пока со мной не спознался!

Потом, обратившись к рыцарю, едким тоном проговорила:

— Сердце мое, велите увести ту даму, ежели не хотите, чтобы я вас ревновала!

Шутка показалась мне весьма грубой, тем более что я не была знакома с женщиной, позволившей себе такие слова. Я хотела дать ей почувствовать все их неприличие и уже собиралась обратиться к господину д'Юрфе (на этот раз прибегая к речи более современной), но мне помешал шум и ропот, поднявшийся вдруг среди гостей.

Они что-то говорили друг другу, многозначительно переглядывались и перемигивались, указывая друг другу на меня.

Внезапно дама, заговаривавшая с рыцарем, схватила светильник и приблизилась ко мне так стремительно, что, казалось, она скорее летит, а не идет.

Она высоко подняла светильник и обратила внимание присутствующих на тень, отбрасываемую мною.

Тут со всех сторон раздались крики возмущения, и я услышала слова, которые повторялись в толпе:

— Тень-то! Тень-то! Не наша она!

Сперва я не поняла смысла этих слов, но, осмотревшись кругом, чтобы разгадать их значение, со страхом увидела, что ни у кого из окружавших меня не было тени: все они скользили мимо факелов, не заслоня собою их свет.

Мной овладел невыразимый ужас. Чувствуя, что я лишаюсь сил, я поднесла руку к сердцу. Мои пальцы коснулись крестика, который я недавно целовала, и мне вновь послышался голос командора, зовущий меня. Я хотела бежать, но рыцарь сжал мне руку своей железной дланью и принудил меня остаться.

— Не страшитесь, — проговорил он, — клянусь погибелью души моей — не потерплю, чтобы кто обидел вас, а дабы никто и не помышлял о том, сейчас же священник благословит нас и повенчает!

Толпа расступилась, и к нам подполз на четвереньках длинный францисканец, бледный и худой.

Его как будто мучили жестокие боли, но в ответ на все его стоны дама с жемчугами в волосах как-то неестественно засмеялась и, повернувшись к рыцарю, сказала:

— Вот видите, сударь, видите, наш приор опять кобенится, как триста лет назад.

Рыцарь приподнял забрало. Лицо его, несколько не напоминавшее д'Юрфе, было мертвенно-бледно, а взгляд носил печать такой зверской жестокости, что я не могла его выдержать. Глаза его выступали из орбит и были устремлены на меня, а приор, ползая по полу, гнусавил между тем молитвы, которые время от времени прерывались такими страшными проклятиями и криками боли, что волосы у меня дыбом вставали на голове. Холодный пот выступал у меня на лбу, но я не в состоянии была и пошевелиться, ибо своим рукопожатием господин Бертран

отнял у меня всякую способность к действию, и мне оставалось только смотреть и слушать.

Когда, наконец, францисканец, обращаясь к присутствующим, стал возвещать о моем бракосочетании с господином Бертраном д'Обербуа, страх и негодование придали мне вдруг силу сверхъестественную. Сделав резкое усилие, я высвободила руку и, держа в ней крест, подняла его над призраками.

— Кто бы вы ни были, — воскликнула я, — именем бога живого приказываю вам: исчезните.

При этих словах лицо господина Бертрана совершенно посинело. Он покачнулся, и я услышала, как гулко, словно бы это был железный чан, ударились о плиты пола рыцарские латы.

В то же мгновение исчезли и все остальные призраки, налетел ветер и погасил огни.

Теперь кругом меня были развалины обширного здания. При свете луны, проникавшем в одно из сводчатых окон, мне почудилось, будто передо мной еще мечется целая толпа францисканцев, но и это видение исчезло, как только я осенила себя крестом. До меня еще донеслись замирающие звуки молитвы, еще различила я и слова: «Есть хочу, есть хочу!» — а потом уже только шумело в ушах.

Меня одолела усталость, и я впала в дремоту.

Когда я очнулась, меня уже нес какой-то человек, широкими шагами перемахивавший через пни деревьев и кусты. Я открыла глаза и при лучах утренней зари узнала командора; одежда его была разорвана и запачкана кровью.

— Сударыня, — сказал он мне, когда увидел, что я в состоянии его слушать, — если самое жестокое мгновение в моей жизни было то, когда я потерял вас, то уверяю, что ничто бы сейчас не могло сравниться с моим счастьем, если бы его не отравляла мысль о том, что мне не удалось предотвратить ваше падение.

Я ответила ему:

— Да бросьте вы сокрушаться, командор, и положите меня на землю: я чувствую себя разбитой, а судя по тому, как вы меня несете, из вас, пожалуй, хорошей няньки не получится!

— Если так, сударыня, — сказал господин де Бельевр, — то вините не мое рвение, а сломанную левую руку!

— Боже мой! — вскричала я. — Как же это вы сломали себе руку?

— Когда бросился за вами, сударыня, как мне повелевал мой долг, едва только я увидел, что дочь моего почитаемого друга выпала из кареты.

Тронутая самоотверженностью господина де Бельевра, я уговорила его позволить мне идти самой. Я предложила ему также сделать из моего платка повязку, но он ответил, что состояние его не требует таких забот и что он более чем счастлив, имея здоровую руку, которой готов мне служить.

Мы еще не успели выбраться из леса, как встретили слуг с портшезом — их выслал в эту сторону мой отец, узнав о несчастном случае от наших лакеев. Сам он продолжал еще поиски в другом направлении. Вскоре мы соединились. Он, как меня

увидел, очень встревожился и сразу же начал хлопотать около меня. Потом ему захотелось обнять и господина де Бельевра, с которым он не видался много лет. Но командор отступил на один шаг и сказал моему отцу тоном весьма серьезным:

— Милостивый государь и любезнейший друг! Доверив мне вашу дочь, то есть самое драгоценное, что есть у вас на свете, вы дали мне такое доказательство дружбы, которым я был глубоко тронут. Но я оказался недостоин этой дружбы, ибо, несмотря на все мои старания, я не мог помешать тому, чтобы гром напугал наших лошадей, чтобы карета разбилась, а дочь ваша упала посреди леса, где и оставалась до утра. Итак, вы видите, милостивый государь и дорогой друг, что я не оправдал вашего доверия, а поелику справедливость требует, чтобы я дал вам удовольствие, то я и предлагаю вам либо драться на шпагах, либо стреляться; сожалею, что состояние моей левой руки делает для меня невозможной дуэль на кинжалах, которой, быть может, вы бы отдали предпочтение, но вы — человек слишком справедливый, чтобы упрекнуть меня в недостатке доброй воли, а для всякой иной дуэли я — к вашим услугам в тот час и в том месте, какие вам угодно будет указать.

Моего отца весьма удивило такое заключение, и лишь с величайшим трудом удалось нам убедить командора, что он сделал все возможное для человека в подобных обстоятельствах и что для смертоубийства нет никаких оснований.

Тогда он с жаром обнял моего отца и сказал ему, что очень обрадован таким исходом дела, ибо ему было бы горестно убить лучшего своего друга.

Я попросила господина де Бельевра рассказать, как он меня нашел, и узнала от него, что, бросившись вслед за мною, он ударился головою о дерево и от этого на время потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что левая рука у него сломана, но это не помешало ему отправиться на мои поиски, в течение которых он неоднократно звал меня. В конце концов после долгих стараний он нашел меня в обмороке среди развалин замка и унес, обхватив правой рукой.

Я, в свою очередь, рассказала, что со мною случилось в замке Обербуа, но отец отнесся к моим словам так, как будто все это мне приснилось и пригрезилось. Я выслушивала его шутки, но в глубине души была вполне уверена, что видела не сон, — к тому же я ощущала и сильную боль в руке, которую своей железной дланью сжал рыцарь Бертран.

Все перенесенные тревожения так на меня действовали, что вызвали лихорадку, которой я болела больше двух недель.

В течение этого времени отец и командор (руку которого лечил здешний хирург) постоянно играли в шахматы у меня в комнате либо рылись в большом шкафу, набитом всякими бумагами и старинными пергаменатами.

Однажды, когда я лежала, закрыв глаза, я услышала, как отец говорил командору:

— Вот прочитайте, друг мой, и скажите, что вы об этом думаете.

Мне стало любопытно, и, приоткрыв глаза, я увидела, что отец держит в руках совершенно пожелтевший пергамент с несколькими привешенными к нему восковыми печатями, какие в былое время полагалось прикреплять к парламентским указам и королевским эдиктам.

Командор взял пергамент и принялся читать вполголоса, часто оборачиваясь в мою сторону, послание короля Карла Седьмого ко всем баронам в Арденнах, коим сообщалось и объявлялось об изъятии в казну поместий рыцаря Бертрана д'Обербуа и госпожи Жанны де Рошэгю, обвиненных в безбожии и всякого рода преступлениях.

Послание начиналось в обычных выражениях:

«Мы Карл Седьмой, милостию божиею король Франции, шлем благоволение свое всем, кто читать будет сии письма. Всем вассалам нашим, баронам, владетельным господам, рыцарям и дворянам да будет ведомо, что чиновники наши, владетельные господа и дворяне донесли нам о бароне нашем господине рыцаре Бертроне д'Обербуа, каковой рыцарь злокозненно и злонравно непокорство оказывал нам и власти нашей королевской противоборствовал», и прочая, и прочая, и прочая. Следовал длинный список прегрешениям рыцаря Бертрана, который, как было сказано, «о благе святой церкви нашей не радел, оной не почитал, постов и вовсе не соблюдал, как если бы так и подобало, годы многие

во грехах не исповедовался и плоти и крови господя нашего и спасителя Иисуса Христа не причащался».

«И столь презрительно сотворил выше реченный рыцарь, — гласил далее пергамент, — что мерзостней того и сотворить невозможно, понеже в ночь Успения пресвятой Владычицы нашей Богородицы, веселясь на пире буйном и богопротивном, господин тот Бертран рек: «Погибелью души моей клянусь! Жизни вечной не бывать и в жизнь оную не верю нисколько, а коли она есть, так я, хоть бы и душу за то отдать сатане, ворочусь через триста лет с сего дня в замок мой, дабы веселиться и пировать, и в том поклясться и побожиться готов!»

Как говорилось далее в послании, эти дерзкие слова столь понравились прочим сотрапезникам, что все они тоже дали клятву встретиться ровно через триста лет, в такой же точно день и час в замке рыцаря Бертрана, за каковое деяние они объявлялись вероотступниками и безбожниками.

Так как вскоре после произнесения столь ужасных слов рыцарь Бертран был найден «удавленным, сиречь удушенным» в своих доспехах, его тем самым уже не могло коснуться возмездие за совершенные преступления, но его поместья были взяты в казну, равно как и владения его доброй приятельницы госпожи Жанны де Рошэгу, которая обвинялась — милая забавница! — еще и в том, что сгубила приора одного францисканского монастыря, воспользовавшись сперва его помощью для убийства своего супруга. То, как она умертвила этого недостойного

священника, было чудовищно: она велела перерезать ему оба подколенка и бросить искалеченного в лесу Обербуа, «и на сие горестно было взирать, ибо выше реченный священник ползал и корчился прежалостно, доколе не умре с голоду в том лесу».

В конце послания не заключалось ничего существенного, кроме того, что одному из наших предков повелевалось именем короля вступить во владение замками рыцаря Бертрана и госпожи Жанны.

Когда командор дочитал, отец спросил его, в какой именно день мы приехали.

— Это было в ночь на Успенье Божьей Матери, — отвечал господин де Бельевр. — В ту ночь я имел несчастье потерять и счастье вновь найти госпожу герцогиню, вашу дочь.

— Послание помечено тысяча четыреста пятьдесят девятым годом, — продолжал мой отец, — а у нас сейчас год тысяча семьсот пятьдесят девятый. В ночь на Успенье с тех пор прошло, значит, ровно триста лет. Не надо, командор, говорить про это моей дочери — пусть лучше она думает, что видела сон.

При этих словах я вся побледнела от ужаса. Отец и командор это заметили и обменялись беспокойным взглядом. Но я сделала вид, что только сейчас проснулась, и сказала, что чувствую необычайный упадок сил.

Несколько дней спустя я совершенно выздоровела.

Вскоре же я уехала в Париж опять в сопровождении господина де Бельевра. Я снова встретилась с д'Юрфе, который оказался еще более, чем прежде,

влюбленным в меня, но я по проклятой привычке к кокетству держалась с ним еще более холодно, продолжая его мучить и шутить над ним, в особенности по поводу его неудавшейся попытки похитить меня.

Во всем этом я так преуспела, что в одно прекрасное утро он пришел сообщить о своем решении уехать в Молдавию — так он устал от этой игры.

Я достаточно хорошо знала маркиза и поняла, что теперь уже он не откажется от своего намерения. Удерживать его я не стала, а так как мне бог весть почему казалось, что с ним может случиться несчастье, то и дала ему — чтобы предохранить — мой крестик, который, как он мне рассказал впоследствии, спас его от страшной беды.

Через полгода после отъезда маркиза я вышла замуж за вашего деда и должна вам признаться, дети мои, что сделала этот шаг, хоть отчасти, с горя. Но все же правду говорят, что браки по любви не самые удачные: ведь ваш дед, к которому я всегда чувствовала только уважение, сделал меня, конечно, гораздо более счастливой, чем я была бы с маркизом д'Юрфе, который, в конце концов, был всего-навсего шалопаем, что, впрочем, не мешало мне находить его весьма приятным.

*Конец 1830-х или начало 1840-х*

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Упырь .....                                                | 5   |
| Семья вурдалака. <i>Перевод А. Федорова</i> .....          | 109 |
| Амена .....                                                | 153 |
| Встреча через триста лет. <i>Перевод А. Федорова</i> ..... | 187 |

# МИО Проза

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА**

**НОВЫЕ ИМЕНА МИРОВОГО  
МАСШТАБА**

**ПРОБЛЕМАТИКА XXI ВЕКА**

**РОМАНЫ ВЗРОСЛЕНИЯ**

**КНИЖНЫЙ КЛУБ**

**#mifproza**

Подписывайтесь  
на полезные книжные письма  
со скидками и подарками:  
[mif.to/proza-letter](https://mif.to/proza-letter)

Вся проза  
на одной странице:  
[mif.to/proza](https://mif.to/proza)



**mifbooks**

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Т52

**Толстой, Алексей Константинович**

Т52 Упырь [сборник] / А. К. Толстой. — Москва : МИФ, 2024. — 224 с. — (Вечные истории. Young Adult).

ISBN 978-5-00214-406-8

В готических рассказах Алексея Толстого упыри восстают из могил, кровожадные вурдалаки открывают охоту на людей, портреты оживают, а призраки тянутся к прохожим костлявыми руками. Происходят страшные и загадочные события, оборотни и чудовища поджидают каждого, и никому не скрыться от атмосферы мрачной обреченности.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

*Литературно-художественное издание  
Вечные истории. Young Adult*

**Толстой Алексей Константинович**

## **Упырь**

Руководитель редакционной группы  
*Анна Неплюева*  
Шеф-редактор *Павла Стрепет*  
Креативный директор *Яна Паламарчук*  
Арт-директор *Галина Ересина*  
Иллюстрация на обложке *Iren Horrors*  
Иллюстрации на форзаце  
и нахзаце *Анна Пасхалиди*  
Леттеринг *Антон Героев*  
Верстка *Владимир Снеговский*  
Корректор *Наталья Воробьева*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»  
123104, Россия, г. Москва, Б.  
Козихинский пер.,  
д. 7, стр. 2

Все права защищены.  
Никакая часть данной книги  
не может быть воспроизведена  
в какой бы то ни было форме  
без письменного разрешения  
владельцев авторских прав.

[mann-ivanov-ferber.ru](http://mann-ivanov-ferber.ru)  
[vk.com/mifbooks](https://vk.com/mifbooks)

Печатается по изданию: Толстой А. К.  
Художественная проза. Статьи : собрание  
сочинений: в 4 т. / А. К. Толстой ; [подготов.  
текста и примечания И. Ямпольского]. — М. :  
Художественная литература, 1964. — Т. 3. —  
602 с.: — портр.

ISBN 978-5-00214-406-8

© Федоров А. В., наследник, перевод  
на русский язык, 2024  
© Оформление. ООО «Манн, Иванов  
и Фербер», 2024







«Ужас, отчаянье, сумасшествие  
будут наградой его любопытства.  
Да, любезный друг, я тоже молод,  
но волосы мои седы, глаза мои  
впалы, я в цвете лет сделался  
стариком — я приподнял край  
покрывала, я заглянул  
в таинственный мир».



#мифклассика

Иллюстрация на обложке: Iren Horrors

Иллюстрации на форзаце и нахзаце: Анна Пасхалиди

**МИО** mann-ivanov-ferber.ru  @mifbooks